



*Владимир Иванович Шаронов*

## Карсавин — Скржинской: «Именно Вы связали мою метафизику с моей биографией и жизнью вообще...»

**Аннотация.** На основе малодоступных исследователям архивных документов автор реконструирует историю отношений Льва Платоновича Карсавина и Елены Чеславовны Скржинской и их отражение в книгах «Noctes Petropolitanae» и «Поэма о смерти», содержащих основные идеи метафизики Карсавина. В статье предлагается авторское видение особенностей религиозной мысли Л. П. Карсавина, в связи с темой веры и неверия современного человека.

**Ключевые слова:** Лев Карсавин, Елена Скржинская, Петр Сувчинский, Мария Юдина, Бог, христианство, религиозность, догматика, демократическая мистика, каритативная любовь, метафизика.

Абстракция — смерть для одного,  
для другого — воздух, которым дышит.

*Жак Маритен*

Всем, кто склонен скептически относиться  
к абстрактной мысли, нужно сказать:  
абстракции суть сокровенные  
формулы действительности.

*Анатолий Ванеев*

### 1.

В сентябрьский день 1975 года рейсовый пароход ошвартовался у причальной стенки Астрахани. Почти все путешествующие пассажиры и большая часть команды отправились в город. На пустой палубе, опираясь на перила, стояла пожилая

женщина, одна из немногих оставшаяся на судне. Это была Елена Чеславовна Скржинская, известный ученый-медиевист, в недалеком прошлом научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории Академии наук. Ее дочь вместе со своим супругом, составившие ей компанию в проведении отпуска, тоже предпочла осмотреть город, а не изнывать от стоявшей жары на палубе<sup>1</sup>.

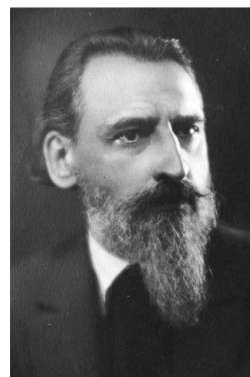
Неожиданно она почувствовала, что кто-то встал рядом, и через мгновение вдруг ясно увидела Льва Платоновича Карсавина, кого она так любила в какой-то совсем другой и очень далекой жизни. Он был таким же, как и полвека назад, — горделиво красивым, с темными, как их называли многие, «византийскими»<sup>2</sup> глазами. Явственное, даже какое-то сверхреальное переживание его молчаливого присутствия она сочла несомненным призывом вскоре соединиться с ним, давно ушедшим в иной мир. Но близкая смерть к происшествию была не причастна. По возвращении в Ленинград она всего лишь получила письмо о принудительном переселении всей семьи из строения за номером 14 по Ольгиной улице на Крестовском острове «в связи со сносом и в целях строительства больницы» для чиновничьей верхушки. Так для Елены Чеславовны Скржинской проявилась связь недавнего видения и вести о скором уничтожении родного дома. Не только он сам, но и обстановка этих комнат, рояль, развешанные над письменным столом фотографии и репродукции почти семь десятилетий хранили память о многих бывавших здесь незаурядных людях [Θ].

История отношений Льва Карсавина и Елены Скржинской с ее самого начала ощутимым привкусом ее



*Елена Чеславовна Скржинская  
у окна большой комнаты  
в доме № 14 на Ольгиной улице.  
Ленинград, начало 60-х гг.*

*Фото из семейного архива М. В. Скржинской*



*Лев Платонович  
Карсавин, 1932 г.*

*Фото хранится  
в фондах Интинского  
краеведческого музея*

<sup>1</sup> Здесь и далее знанием подробностей жизни Е. Ч. Скржинской автор обязан ее дочери — доктору исторических наук Марии Владимировне Скржинской, которая вместе со своим супругом, членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины Николаем Федоровичем Котляром, великодушно приняла автора в своей киевской квартире, поделилась личными воспоминаниями, семейным фотоархивом и разрешила использовать предоставленные материалы в публикациях. Обращение к личным воспоминаниям М. В. Скржинской и цитаты из них отмечены фитой [Θ].

<sup>2</sup> Выражение Аарона Штейнбера [См.: 42, с. 484].

безнадежности полна проникновенных признаний, отчаянных надежд соединить судьбы, разрывов и возобновлений отношений, горечи обид и непоправимых ошибок. Но вместе с тем, что обычно сопровождает накал страстных чувств, эта любовь была озарена тем почти неизъяснимым моментом, в каком ему открылось новое и живое звучание слов, которые он еще недавно так много и легко цитировал, разъяснял и комментировал как ученый. Это мгновение преобразило Карсавина и определило всю его последующую судьбу.

Первым выражением нового характера карсавинской мысли стала небольшая книжка, увидевшая свет в Петрограде в первые дни 1922 года, с несколько странным для пролетарской литературы названием «Noctes Petropolitanae». Обращенное к веку серебряному, такому теперь недостижимо далекому с его «Tertia vigilia» Брюсова, «Cor ardens» Вяч. Иванова, «Stigmata» Эллиса и многим другим это наименование было прямым вызовом тому, что лавиной выходило из типографий, что обсуждалось и утверждалось в стране повсеместно. Еще одной дерзостью автора стало предисловие. В нем «автор», а его имя было вынесено на обложку прямо — Лев Карсавин, как бы заранее провоцируя читателя известной скандализованной стороной модного тогда психоанализа, обозначил свое альтер эго — «Издатель». К тому же и предисловие, и главы работы были написаны в такой стилистике, что большинству, этим едва ли образованным ценителям текстов, было сложно даже определить, к какой сфере она относится — к богословской, научной или художественной, заявка это на серьезную литературу или неуклюжие первые пробы пера, юная пылкая влюбленность двигала автором или был он человеком с опытом жизни:

*Издатель чужд догматических и богословских склонностей автора. Тем не менее, он готов усматривать некоторую ценность в жизненной постановке таких проблем, как троичность: эта постановка позволяет видеть в отвлеченной догме символическое выражение некоторого реального факта, идеологическую надстройку. <...>*

*Столь важная для него теория «двуединства» или «четы» с полной убедительностью не обоснована, вызывая целый ряд вопросов и недоумений, касаться которых здесь неуместно. А между тем на этой теории строится вся его метафизика. <...>*

*Издатель полагает, что обо всем этом он так или иначе мог бы с автором столкнуться. Ведь он, отличный от него, все же и есть сам автор, составляя с ним «двуединство»<sup>3</sup> (NP).*

## 2.

Впервые Лев Карсавин и Елена Скржинская встретились в 1913 году на 10-й линии Васильевского острова, где располагались Бестужевские курсы и где она,

<sup>3</sup> Здесь и далее фрагменты «Noctes Petropolitanae» цитируются по: [22], страницы не указываются и обозначены пометкой «NP».



*Здание Бестужевских курсов на 10-й линии Васильевского Острова. Петроград, начало XX в.*

тогда еще их слушательница, была сразу очарована лекциями недавно назначенного ординарного профессора. В 1918 году — уже в качестве студентки Петроградского университета — Елена Чеславовна стала постоянной участницей карсавинского семинара, который он в голодные и холодные годы первых лет после революции вел в кабинете своей университетской квартиры, обставленной ампириной мебелью. Затем она старалась не пропускать его публичные доклады, посвященные не только историческим темам, но и современности — проблемам свободы слова или «миражам прогресса»...<sup>4</sup> Их стали изредка встречать вместе на концертах в филармонии и капелле, на выставках в Эрмитаже и Русском музее... Чем далее продолжались эти встречи напоказ, тем острее они воспринимались культурным и особенно православным сообществом, ведь без малого сорокалетний Карсавин был уже обвенчан и воспитывал малолетних детей — старшую Ирину и Марианну. В 1920 году у Карсавиных родилась третья дочь, ей дали имя Сусанна. Тогда же Лев Платонович стал постоянным гостем двухэтажного, в стиле «модерн», красно-каменного дома с башенкой на Ольгиной улице [Θ].

За одиннадцать лет с момента постройки особняка Ковальских-Скржинских<sup>5</sup> на Крестовском скромные деревца-прутики разрослись в небольшой сад. Весной



*Елена Чеславовна Скржинская как и многие слушательницы Бестужевских курсов в годы Первой мировой войны в свободное время безвозмездно трудилась сестрой милосердия. Фото из семейного архива М. В. Скржинской*

<sup>4</sup> Большую и очень ценную работу по составлению хроники жизни и библиографии работ Л. П. Карсавина, а также посвященных ему работ проделал С. С. Хоружий [39, с. 467–478].

<sup>5</sup> Вместе с семьей Скржинских в особняке проживала семья Якова Игнатьевича Ковальского, двоюродного брата Елены Владимировны Головиной-Скржинской. Само же здание было одним из 14, построенных по проекту военного инженера и архитектора генерал-лейтенанта



*Лидия Николаевна Карсавина  
с дочерью Ириной. Петроград, 1913 г.  
Фонд библиотеки  
Вильнюсского университета*



*Дом № 14 на Ольгиной улице,  
Вид со стороны речки Крестовки.  
Ленинград, 1920-е гг.  
Фото из семейного архива  
М. В. Скржинской*

в нем обильно цвели черемуха и яблони, белая и лиловая сирень, пионы, летом радовали лилии и розы. На втором этаже большое окно комнаты Елены Чеславовны смотрело на эту красоту, а окна гостиной и примыкавшей к ней стеклянной веранды, ее тогда называли галереей, выходили на коротенькую тихую речку Крестовку. За ней располагались несравнимо большие старинные сады Каменного и Елагина островов, покинутые их богатыми хозяевами во время революции. Как вспоминала потом Елена Чеславовна, окрестности еще долго сохраняли аромат ушедшей налаженной жизни [Θ]. В 1922 году, по декрету Ленина, в дачах Каменного острова открылись дома отдыха для трудящихся. Часть особняков почти мгновенно превратилась в ульи с густонаселенными коммуналками, а некоторые тут же были окружены высокими уродливыми заборами. Наличие таковых отныне твердо указывало на особый статус домов — резиденции партийной верхушки. Но до этих времен, как вспоминала Елена Чеславовна, «на островах особенно громко пели соловьи, было пустынно и необычайно красиво. Здесь совместные вечера Льва и Елены переходили в те самые ночи. Встречи были ограничены часом разведения мостов, и это заставляло Льва Платоновича все время поглядывать на часы» [Θ].

Трамвай, единственный городской транспорт, тогда появлялся только ранним утром, когда надо было везти людей на работу<sup>6</sup>. Вначале, следуя пешком по его двенадцатому маршруту, Карсавин сворачивал на Алексан-

Вадима Платоновича Стаценко (1860–1918) — профессора Николаевской военной академии. Его фундаментальный труд «Гражданская архитектура» выдержал 10 изданий, последнее вышло в 1931 г. Семья Стаценко также проживала на Крестовском острове [31].

<sup>6</sup> Нередко компанию в ночных прогулках Карсавину составлял Александр Николаевич Макаров, в то время поклонник Ирины — младшей сестры Елены Чеславовны. Он был видным юристом, но в те годы работал в Эрмитаже. В 1925 г. А. Н. Макаров эмигрировал в Германию, где прожил до смерти в 1973 г. Там же он состоялся в качестве специалиста по международному праву, имеющего мировое признание. В архиве Скржинских, хранящемся в Российской госу-



дровский проспект, затем — на Вязовую улицу, далее направлялся на деревянный мост через Малую Невку. По Колтовской набережной он попадал к началу Зеленой улицы с ее знаменитой аптекой Александра Блока... Потом путь лежал по улицам Петроградской стороны, через Тучков мост, на Университетскую набережную. Там находилась его профессорская квартира, которую из-за редчайшего в то время наличия ванны любили посещать все театральные знакомые Карсавина... Из окна кабинета был виден золотой купол Исаакия.

На таком фоне, одновременно благоустроенном и романтическом в бытовом отношении, но омраченном тяготами послереволюционного времени, многими личными обстоятельствами, развивался роман Льва Карсавина и Елены Скржинской. Даже не тонкого слуха читатель способен меж ровных строк «Петербургских ночей» различить эхо случавшихся уже тогда размолок влюбленных. Рукописное посвящение автора на отдельном листе авантитула, помеченного типографским способом «Личный экземпляр № 15 Елены Чеславновны Скржинской», передает несовпадение мыслей и чувств между ними.

*Бессмертную любовью любит  
И не разлюбит только тот,  
Кто страстью радости не губит,  
Кто к звездам сердце вознесет,  
Кто до могилы пламенеет, —  
Здесь на земле любить умеет  
Один безумец Дон Кихот<sup>7</sup>.*

*Вместо осужденных суровым приговором моих стихов, стихи «старого елчика» к этой голубой книжечке, написанной для одного человека /который ее отвергает/, а напечатанной и понятой едва ли для одного из тысячи.*

1922. II. 22. Среда  
*Assire animat teat, pro quo rogo<sup>8</sup>*  
автор.

\* \* \*

*Редкие прохожие идут торопливо. Наверно, на улице слышен хруст снега под их ногами. Нет шумной дневной суতোлки, и собор потерял свою суетливость, очерченный луной. Везде длинные редкие тени рядом с бледным светом, медленно ползущим по полу передо мной. Жизнь затихла, но все живет иною, лунною жизнью, зовущей к себе и недоступной. На душе непонятная грусть. И встают сомнения, мучительно неразрешимые... (NP).*

---

дарственной библиотеке [32], хранятся письма к Ирине Чеславовне, написанные Александром Николаевичем, в том числе уже после эмиграции.

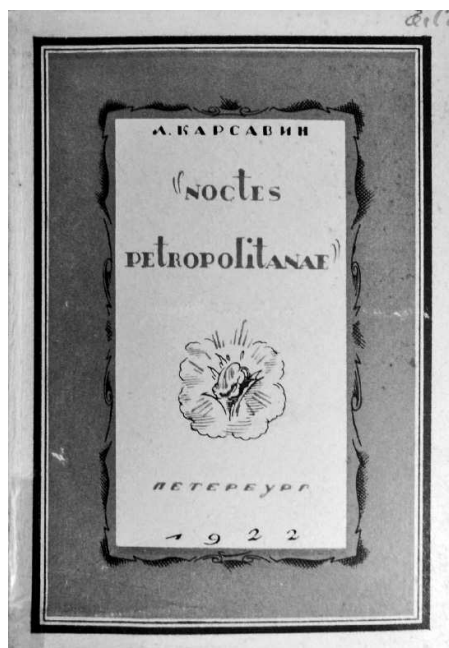
<sup>7</sup> Строфа стихотворения Ф. К. Сологуба «Дон Кихот».

<sup>8</sup> Прими душу мою, о чем прошу (лат.).

Выпущено академиком суровым приговором  
 моего друга семьи "Параллели" из этой  
 группы книг (который ее отвергает), а  
 написанный в том же духе... еще не для  
 одного из них.

1922. II. 22 среда.

Дарственная надпись рукой Л. П. Карсавина на личном экземпляре  
 Е. Ч. Скржинской (и фрагмент надписи)



Обложка книги.  
 Хранится в семейном архиве  
 М. В. Скржинской

## 3.

В название своего труда Лев Карсавин постарался вложить длинную цепь личных ассоциаций и намеков. Первое ее звено адресовалось «только просвещенным и действительно просвещенным читателям метафизики» [22, с. 101], тем, кому была «очевидна связь названия с именем Авла Геллия» и его «ради забавы» написанными «Noctes Atticae». Намеренная переключка петербургских «Ночей» с «Ночами» аттическими была не только в сходстве названий и намеке на раскованность изложения и редкую историческую эрудицию, свойственную обоим авторам. Она продолжалась в акцентированной диалогичности, вычурности, демонстративном уклоне в смешение жанров и даже в своей явной, осознанной незавершенности текста. Эти признаки придавали карсавинскому произведению значение своеобразного брeвиария, увязывали собой одновременную причастность автора к истории, религиозной философии и к богословию. Но главное состояло в том, что сам текст «Noctes Petropolitanae» указывал на реальные ночи, последовавшие за вечерами, проведенными Львом Карсавиным с Лёшей, как именовали Елену Скржинскую в самом близком домашнем кругу.

С содержанием посвященной ей книги Елена Чеславовна знакомилась вначале на страницах тех нескольких сотен писем<sup>9</sup> (временами каждый день по письму!), написанных им для нее, а потом — в первой редакции рукописи. Все интимное содержание писем он, разумеется, не стал помещать в книгу, но и того, что перенес в ее текст, хватило, чтобы героиня решительно возразила против какого-либо опубликования в печати. Убедая, Карсавин твердо пообещал сократить текст наполовину, но исполнил данное слово едва ли и на треть [21, с. 102]. Лев Платонович не считал возражения Елены Чеславовны убедительными, отнеся их на то заметное



*Елена Чеславовна Скржинская, сотрудник Российской Академии истории материальной культуры в одном из залов музея. Ленинград, 1920 г. Фото из семейного архива М. В. Скржинской*

<sup>9</sup> Эти письма Е. Ч. Скржинская всю жизнь хранила у себя. Перед своей смертью она передала их А. А. Ванееву. В конце концов, они перешли к Е. И. Ванеевой, вдове Анатолия Анатольевича. Елена Ивановна перед своим отъездом из России передала их на хранение своему знакомому N. Но по каким-то, вероятно, важным для него причинам пока он отказывается признать факт получения этих документов, но надежда на их обретение остается.



многим ее равнодушие к отвлеченной мысли, о котором знавший ее Аристид Иванович Доватур<sup>10</sup> как-то сказал: «Муза философии ее не поцеловала» [Θ]. Безразличие Скржинской к философской мысли вообще и карсавинской в частности имело в будущем свои непростые последствия.

Для Льва Платоновича Карсавина существеннее всех вместе взятых протестов стало новое качество его собственных размышлений с иной, бóльшей глубиной религиозного переживания. Он перестал быть пусть очень, и все же только эрудированным, щеголяющим парадоксами ученым, но, в сущности, только рядовым при науке, добросовестным служителем научной канцелярии. Теперь он пребывал, выражаясь им же изобретенным термином, в ином «качествании», т. е. активно проясняя свое переживание горнего, свои прозрения и развивая ранее сравнительно отрывочно высказанные идеи. Страсть любви породила страсть мысли. И каким бы отталкивающим, неустойчивым, «неправильным» человеком в последующей жизни он кому-то ни казался, его отчаянное страстное чувство к женщине и пережитые в нем откровения о любви к человеку страдающего, распятого Христа, — все это вывело его мысль в тот регистр, где Лев Карсавин приблизился к самым важным темам русской религиозной мысли. Не так важно, что в своей метафизике он превосходил некоторые идеи самых крупных западных теологов XX века<sup>11</sup>, как то, его новое видение религиозной веры в прошлом и настоящем не теряет своего значения для современного человека.

Что до критики, обрушившейся на автора сразу по выходе «Noctes Petropolitanae», то даже когда спустя время он признавал ее обоснованность в части формы, то продолжал оставаться уверенным в правильности заявленных идей и положений.

*<...> предрасполагает <...> к меланхолии исконное свойство неуверенности в себе, делающее иногда чувствительными и мелочи архиерейской жизни. А таких мелочей много. Среди них, к стыду моему, играет роль и общественное мнение. Тут недавно принесли мне — звено с глупой замечкой какого-то Бахтина<sup>12</sup> «О началах». Показалось, что юный автор хочет авторитетно покритиковать <...> Но м. б. не у меня вычитал, а я написал только общеизвестное?*

*М. б. и правильно, что книга вызывает «физическое недомогание», «неряшлива по стилю», бессвязна и напряженна, безвкусна? Ведь чувствую же я теперь сам безвкусицу моих «Noctes», о коих и слышать не хочу. Здесь важен не автор, а поднятый им вопрос, потому существенный, что наибольшая часть моей души в работе<sup>13</sup>.*

<sup>10</sup> Известный ученый, советский филолог-классик и историк (1897–1982).

<sup>11</sup> Имеются в виду работы Дитриха Бонхейфера, Карла Барта, Карла Ранера, Вальтера Каспера, Йозефа Ратцингера и др.

<sup>12</sup> Автором короткой рецензии — разгромной до оскорбительных оценок — в журнале «Звено» был Николай Бахтин (1894–1950), старший брат известного ученого, теоретика культуры Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975).

<sup>13</sup> Цитируется по: [24, с. 368].

## 4.

К «Петербургским ночам», «Поэме о смерти», в которых содержатся основные идеи метафизики Льва Карсавина, подступиться непросто. Причин для этого существует с избытком — от самых элементарных — редчайшей эрудиции автора и привычки надеяться на свою память<sup>14</sup>, его склонности к научной, религиозной и даже личной провокативности, до противоречивости отвлеченных карсавинских умозаключений.

«Ради красного словца, — вспоминала младшая дочь Сусанна Львовна<sup>15</sup>, — отец не щадил никого, бравирюя иногда даже очевидно грубыми ругательствами».

Люди, знавшие Карсавина, давали ему характеристики, рисующие образ то ли без пяти минут байроновского изгнанника от науки, то ли субъекта, развлекающегося своим интеллектуальным хулиганством:

«Что-то затаенное и недобро-насмешливое поразило меня в этом значительном лице талантливейшего молодого ученого...»

«От самого Карсавина все-таки смутное впечатление: конечно, он очень талантлив, очень много работает, прекрасно знает эпоху XII–XIII веков. Но как-то чувствуется, что он знает себе цену и его позиции сдвинуть ничем не возможно; на все возражения он отвечает: это для меня не важно, это не интересно...»

«Карсавин любит критиковать. Его душу поднимает спор, опровержение, развенчание, победа за счет поражения других».

«Переоценка ценностей» — его стихия. Мудреный он человек и, во всяком случае, большой озорник...»

«Вообще же Карсавин, человек, который очень легко обижает, и потому от него хочется быть подальше, хотя и признаешь его очень интересным человеком...» [10; 33].

Свою порцию неточностей и искажений в его обобщенный образ внесли особенности времени, когда имя Карсавина возвращалось на страницы популярной и научной печати. Характерная восторженность, сопровождавшая «культурное возрождение» начала 90-х годов прошлого столетия, стремление авторов максимально ярко передать свои личные впечатления от знакомства с трагическими судьбами отечественных инженеров, литераторов, ученых, мыслителей и священнослужителей оказали плохую услугу. Под влиянием общественной экзальтированности даже случайные созвучия, мнимые совпадения и пр. рождали странные гипотезы, фантазии второстепенных свидетелей, семейные мифы принимались на веру, как достоверный факт. Но поскольку всякий чрезмерно форсированный общественный

<sup>14</sup> Профессор Лионского университета Франсуаза Лесур, много лет посвятившая исследованию творчества Л. П. Карсавина, рассказывала, что значительную часть цитат средневековых авторов, использованных им по памяти, она так и не смогла атрибутировать.

<sup>15</sup> С. Л. Карсавина рассказала это автору настоящей статьи во время непосредственной встречи в Вильнюсе в 1991 г.



*Генри Норман Сполдинг на групповом снимке встречи выпускников Оксфордского университета в 1933 г. Фото предоставлено автору хранителем Архива Оксфордского университета Дженнифером Торном*

интерес у нас неизменно сменяется апатией, то не приходится удивляться нынешнему равнодушному тиражированию того, что появилось в те годы. Сегодня на страницы изданий то и дело выплывает одинокий «философский» пароход, увозящий разом всех изгнанников — литераторов, инженеров, ученых, философов. Жизнеспособность этой метафоры подтверждает литературный талант, человека, ее впервые употребившего<sup>16</sup>, но ее зачастую вульгарную конкретизацию общественном сознании высвечивает проблему вдумчивого отношения к родной истории, и русской религиозной мысли.

Но до нынешнего дня во вполне серьезных статьях можно встретить так никем добросовестно и не проверенные сведения о родстве Льва Карсавина с А. С. Хомяковым. Это же относится и к тиражированию сообщений о предложении, якобы поступившем ученому из Оксфордского университета, занять там должность профессора и последовавшем из его уст горделивом отказе. Основанием для этой легенды стал неверно истолкованный П. П. Сувчинским<sup>17</sup> разговор о возможной поездке Л. П. Карсавина в Оксфорд<sup>18</sup>. Вот как он сообщает о ней в письме к М. В. Юдиной: «Знаете ли Вы, что перед ним были возможности получить кафедру в Оксфорде? Но — “мы люди простые и нам Англии не нужно” ... Где уж — нам уж!!...» [43, с. 60]. Впрочем, в сопровождающей имя Карсавина мифологии есть и своя неслучайность: навести тень на плетень, изобразить из себя невесть кого время от времени мог сам Лев Платонович<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Имеется в виду Сергей Сергеевич Хоружий.

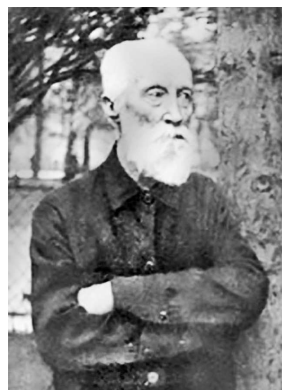
<sup>17</sup> Петр Петрович Сувчинский — один из основоположников евразийского движения (наряду с Н. С. Трубецким, Г. В. Флоровским, П. Н. Савицким), музыкант, музыкальный писатель и организатор, публицист (1892–1985).

<sup>18</sup> В действительности такого приглашения в Оксфорд не существовало. Так были истолкованы вежливые слова письма к Л. П. Карсавину английского мецената и филантропа Генри Нормана Сполдинга: «Если Вы будете в Англии, для меня было бы большим удовольствием увидеться с Вами». Г. Н. Сполдинг проявлял большой интерес к русской религиозной мысли и оказывал значительную финансовую поддержку евразийскому движению. В г. Оксфорд (не в университете!) у него был свой особняк. Это письмо, написанное по-английски, изъято при аресте и приложено к уголовному делу Карсавина [46, р. 7/35].

<sup>19</sup> Например, в переписке с SJ Густавом Веттером Лев Карсавин именует А. С. Хомякова «отдаленным родственником» [5, с. 159].

Будущий ученый и мыслитель рос в смешанной атмосфере мещанской среды, продолжавшей к тому же беднеть, и театральной богемы, которой была присуща мода на декаданс. Первая атаковала Льва примерами униженности и угодливости, впоследствии органически им не переносимыми, даже когда он сталкивался с ними в поведении родственников<sup>20</sup>. Что до театральной среды, то она всегда увлекает едва ли не любого юного человека с искрой таланта. Незаметно, но практически без осечек подпитывая его склонность к внешней позе, постепенно формирует в человеке «наркотическую» зависимость от общественного мнения и потребность в оценке. В том ли была причина, но в случае с Карсавиным легко найдется множество свидетельств, как сильно ему хотелось выглядеть в глазах окружающих фигурой состоявшейся, значительной и авторитетной. Студентом он уже ревниво реагировал на всеобщую любовь, окружавшую Ивана Михайловича Гревса, его университетского профессора, основателя целой плеяды блестящих российских и советских медиевистов [см.: 2]. Лев Платонович мечтал о такой же собственной хорошо налаженной жизни академического ученого, получившего безусловное признание всех своих талантов и идей, достигшего высокого положения и бытовой состоятельности солидного *bourgeois*. Основания для этого у него были: сам Гревс первым признавал превосходство Карсавина над остальными его учениками [Там же; 33].

Себя настоящего, живого и болезненно ранимого, молодой ученый усиленно скрывал. Вначале он, двадцатидвухлетний студент, как-то очень поспешно женился на дочери пермского мещанина Лидии Николаевне Кузнецовой, старше его на два года. Потом нашел подходящий, сценически выверенный образ — ампула ироничного и до язвительности парадоксально мыслящего человека — и последовательно его шлифовал. Маска не только пришла к лицу, но вскоре и приросла намертво.



Иван Павлович Гревс.  
Ленинград, 1930-е гг.  
Фото из семейного архива  
М. В. Скржинской



Лидия Николаевна  
Кузнецова до замужества.  
Санкт-Петербург, 1903 г.  
Фото из фондов  
библиотеки Вильнюсского  
университета

<sup>20</sup> Об этом свидетельствуют записи, сделанные рукой Ирины Львовны Карсавиной в тетради: «Что я знаю о семье моего отца...» Документ входит в Фонд Сусанны Львовны Карсавиной в Библиотеке Вильнюсского государственного университета. Единица хранения подробно не атрибутирована [48].

*Ничего не поделаешь: после Шекспира необходим в трагедии циник и шут... Забудьте об условности стиля, о пошлости многих образов и слов, о поэтическом бессилии. — Тем строже и чище сама поэзия. Как истина, как женщина, она наряжается для разоблачения и без обмана прекрасна лишь во всей своей нагоде. Мудро поет Мистенгет: «Il t'a vue nue, plus que nue...»<sup>21</sup>*

*Поэзия — смысл и система. Поэзия — метафизика, возносящая «мета», «за» пределы естества. Метафизика живет в поэзии; поэзия, раскрывая свой смысл, умирает в холодном свете метафизики.*

*Поэт — дитя. ...Метафизик — древний-древний старец<sup>22</sup> (ПС).*

## 5.



*Лев Платонович и Ирина Львовна Карсавины в фойе театра, 1945 г. Фото из фондов библиотеки Вильнюсского университета*

Ранимость и склонность Льва Платоновича к постоянным перепадам настроения, депрессиям, внезапные творческие воодушевления с большой вероятностью имели свой исток и в наследственности. Старшая дочь Льва Платоновича Ирина на склоне лет записала только часть известных и к тому же местами весьма туманных биографических сведений о предках. В этих строчках, стянутых в один тугой узел правды и вымысла, возникает история фамилии, в нескольких поколениях несущей признаки страстей и тяжелые черты характера. Среди прочего Ирина Львовна, например, сообщает о такой безудержной тяге прадеда к азартной игре, что она довела его до помрачения рассудка и самоубийства. Даже эту очень нестрогую версию генеалогии карсавинского рода сопровождают указания на факты морганатических браков и, одновременно, какие-то полуфантазийные ссылки на родство с Софьей Палеолог, женой Ивана III, и др. Но в этих же записях пробиваются и признаки глубокого скепсиса самого Льва Платоновича по отношению к этой семейной мифологии. Он, например, жестко высмеивал претенциозные байки деда о предке, постепенно возведенном в рассказах из солдата в генералы. Ирина Львовна пишет, что ее отец твердо знал: совсем еще недавно фамилия Карсавин писалась как «Корсавин», а окончание «вин», по твердому мнению Льва Платоновича, указывало на то, что прадед был незаконнорожденным сыном, носившим первоначально фамилию «Корсов»<sup>23</sup> [48].

<sup>21</sup> Мистенгет — сценический псевдоним Жанны Буржуа, знаменитой французской певицы, актрисы кино и комической конферансье. Фраза из ее песни: «Он видел меня обнаженной, даже более чем обнаженной...» (франц.).

<sup>22</sup> Здесь и далее фрагменты «Поэмы о смерти» цит. по: [20], используются без указания на страницы, обозначены пометкой «ПС».

<sup>23</sup> В данном случае используется личная тетрадь Ирины Львовны Карсавиной, открывающаяся словами: «Что я знаю о семье моего отца...» См. прим. 20 на стр. 392.



Личная переписка жены и дочерей Л. П. Карсавина сообщает о повторяющихся депрессиях и периодах нервных расстройств у Сусанны и Ирины. Как следует из протокола арестованной в 1948 году И. Л. Карсавиной, с 1934 по 1937 год, она проходила продолжительный курс лечения от открывшейся «нервно-психической болезни» у известного французского психиатра Адриана Бореля (Adrien Borel) в клинике Св. Анны в Париже. Сведения об этом хранятся в указанном фонде «Следственное дело И. Л. Карсавиной» в Особом архиве Литвы [7, с. 162].

Как бы там ни было, частая эмоциональная неровность и интеллектуальная резкость Льва Карсавина стали заметными чертами его характера, причиной изрядного количества конфликтов, а также сопровождавшего его всю жизнь прохладного отношения окружающих. Муж его старшей дочери Марианны П. П. Сувчинский, чьей завидной настойчивости Лев Платонович был обязан приглашением в евразийское движение, вхождением в высший круг идеологов евразийства, заботой которого был окружен в Кламаре, стал одним из тех, с кем Карсавин сблизился и кому доверительно открывал свои переживания. О степени их взаимного доверия говорят строчки письма Петра Петровича к Марии Владимировне Юдиной: «Л. П. Карсавин», я думаю, — считал меня своим другом. Сколько дней и часов мы провели вместе, гуляя по Версальским лесам и полям!.. Уезжая, в последний раз, он мне передал несколько связок писем Е. Ч. на сохранение» [43, с. 60].

Притом что дружбу с Сувчинским ценили такие крупные личности, как Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, А. Н. Римский-Корсаков<sup>24</sup>, И. Ф. Стравинский, сам он, рафинированный эстет, дворянин с блестящим образованием и многими талантами, по



*Папка Следственного дела  
Льва Карсавина.  
Хранится в фондах  
Особого архива г. Вильнюс*



*Петр Петрович Сувчинский  
в окрестностях Ниццы, 1960-е гг.  
Предоставлено автору владельцем  
частного архива фотодокументов белой  
эмиграции Андреем Корляковым. Париж*

<sup>24</sup> Андрей Николаевич Римский-Корсаков (1878–1940) — сын и биограф Н. А. Римского-Корсакова, музыковед, текстолог, музыкальный критик, доктор философии (ученик В. Виндельбанда). И. Ф. Стравинский посвятил А. Н. Римскому-Корсакову балет «Жар-птица».

собственному признанию, преклонялся перед умом Карсавина. Уже после смерти Льва Платоновича он написал: «Л. П. был самым чистым и добрым человеком, которого я когда-либо встретил в жизни. Его способности были головокружительны, но... он был, как бы выразиться, человеком “недоделанным” и по-детски слабым. Ему нужно было помогать для того, чтобы он смог осуществить все драгоценнейшие данные своей личности, своего таланта» [43, с. 60].

Сам Карсавин, быть может, недостаточно полно, но все же сознавал сложные стороны своей натуры<sup>25</sup>. Но внимание к его проблемам и недостаткам важно не только для понимания особенностей мысли Льва Платоновича. Более существенно то, что они во многом совпадают с распространенными духовными недугами современного человека — раздражительностью, инфантилизмом, культом комфорта и тем страданием пустотой жизни, которое вдруг обнаруживается в наконец достигнутом благополучии.

*Причины моей невежливой медлительности следующие. — 1) Меланхолическое состояние духа (слабая степень «уныния», «acedia»); 2) известная Вам моя абулия (что связано с предшествующей причиною); 3) усердная переделка за все последнее время моего II тома, приводившая меня в удрученное состояние... [8]*

*Как-то всегда так у меня бывает неровно: то крайнее возбуждение, то крайняя апатия. Нет этой самой размеренности завидной, что есть у западных людей — «Nulla dies sine Linia»<sup>26</sup>, но каждый день не больше, чем страницу. И тоска опять. ...На самом деле. — Она не зависима даже от того, религиозен человек или нет [7].*

*Самое же грустное в жизни человека, что никак, никогда и никому не может он высказаться, даже себе самому. А все прочее, кроме этого самого высказывания ему не интересно... [9].*

*Страдать же надо реально, а не в сонном мечтании. Страдание — великий дар, печать избранности и благородства. Если Бог тебя на том свете спросит: «Зачем ты на земле так безобразничал?» — смело отвечай: «Зато, Господи, я и страдал». И, поверь мне, Бог в тупик станет... (ПС).*

## 6.

Второй главный герой этой истории любви — Елена Скржинская родилась в Петербурге на 12 лет позже Льва Карсавина. В семье Скржинских кроме нее были

<sup>25</sup> Даже обильную и зубодробительную критику католичества Карсавин свел к скверным чертам своего характера. — Л. Карсавин. Письмо А. Якштасу-Дамбраускасу // Библиотека Вильнюсского государственного университета (VUB RS), f. 1, l. 506.

<sup>26</sup> Ни дня без строчки (лат.).

еще дети: Ирина, Андрей и Роман<sup>27</sup>. Их мать, Елена Владимировна Головина, первой из российских женщин успешно состоялась в сфере судебной экспертизы, она была профессиональным врачом-психиатром<sup>28</sup>. С молодых лет она самостоятельно строила свою жизнь. Ее стремление к самостоятельности выразилось уже в том, что при венчании она сохранила и свою девичью фамилию, прибавив к ней фамилию мужа<sup>29</sup>. В воспитании детей проявился ее настоящий родительский талант любви, она была самым близким другом и конфидентом своих детей, даже когда они стали взрослыми людьми [26, с. 490].

Отец, Чеслав Киприанович Скржинский, известный российский инженер-электрик, окончил физико-математический факультет Московского университета. Он стал одним из пионеров электротехники в России, соратником П. Н. Яблочкова, А. Н. Лодыгина, В. Н. Чиколева. Первая электрическая станция и высоковольтная система распределения на Васильевском острове в Петербурге строилась при активном участии Чеслава Киприановича. По задачам в учебнике Скржинского училось несколько поколений электротехников. В воспоминаниях его коллег он предстает человеком исключительной честности и прямоты с огромным моральным авторитетом и влиянием [40].

В советское время, когда на дворянские корни указывать было опасно, Елена Чеславовна говорила и писала в анкетах, что выросла в семье «трудовой интеллигенции» [26, с. 492]. В таком определении одновременно с элементом горькой иронии была своя заметная доля правды. Однако друзья, близко знавшие Скржинскую,



*Елена и Ирина Скржинские.  
Санкт-Петербург, 1904 г.  
Фото из семейного архива  
М. В. Скржинской*

<sup>27</sup> Дети семьи Скржинских были одарены большим запасом жизненной энергии. Ирина последовала примеру матери и стала известным врачом и ученым в сфере медицинской рентгенологии. При этом она много лет успешно занималась спортивной греблей, не раз побеждала во всероссийских соревнованиях.

Андрей всерьез увлекся спортом, занимался плаванием, водным поло, греблей. Он не раз становился чемпионом СССР, много лет успешно работал тренером и даже считается одним из основателей советской школы плавания. Он умер во время блокады Ленинграда в 1942 г. [Θ].

Гимназист Роман Скржинский подавал большие надежды в прыжках с шестом, но скарлатина, которой он вместе с Еленой заболел, оборвала его жизнь в выпускном классе [Θ].

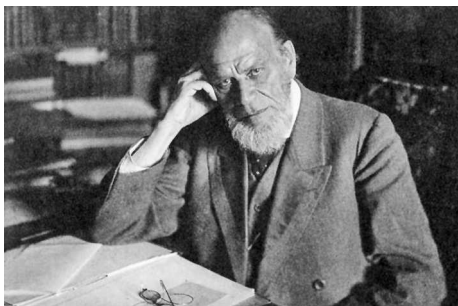
<sup>28</sup> В 1987 г. Е. В. Головина написала книгу «Городская больница св. Николая Чудотворца для душевнобольных в Санкт-Петербурге» [6].

<sup>29</sup> Роль Чеслава Киприановича в непосредственном воспитании детей была не очень значительна: в 1910 г. брак расторгли, причем по инициативе Елены Владимировны. Еще через два года Скржинский-старший скончался [Θ].

видели, как ее происхождение сразу же выдается полным неумением справиться с вопросами быта и особенно той неловкостью, даже беспомощностью, когда дело доходило до хлопот у плиты [Θ]...

Главным воспитателем Елены был двоюродный брат матери Яков Игнатьевич Ковальский, выдающийся русский педагог-физик. Именно дядя обратил внимание на музыкальные способности Елены и побудил ее к серьезным занятиям фортепианной музыкой.

Крестным Елены Скржинской стал знаменитый российский юрист и литератор Анатолий Федорович Кони, перечисление всех титулов и заслуг которого заняло бы слишком много места. Портрет Анатолия Федоровича однажды обрел свое постоянное место над письменным столом Елены Чеславовны, а о нем самом она сохранила память как о человеке удивительно ясного ума [Θ].



Анатолий Федорович Кони, 1920-е гг.

При всем разнообразии профессиональной деятельности ее родителей и близких друзей семьи, общими для всех чертами были личная эрудиция и образованность, независимость взглядов, готовность взяться за решение трудных проблем. Нельзя умолчать и об атмосфере поощрения в детях стремления к строгой точности формулировок, взвешенности, обоснованности решений. Из обстановки семейного воспитания Елена Чеславовна вынесла заметно отличавшую ее привычку

к самостоятельному осмыслению любой, даже самой малой вещи, а равно и особый вкус к образу, слову, к ясности мысли. В этой еще сравнительно молодой девушке рано проявилась способность распознавать людей, сочетающаяся с поразительной точностью и лаконичностью даваемых характеристик. Отсюда же, из столь богатого талантливими людьми круга домашнего общения возникла ее склонность к постоянному любованию разнообразными человеческими способностями и умениями [26, с. 491].

*Вот, наконец, и голос твой слышен... все громче и громче...*

*Завидуешь ли ты любимой твоей, завидуешь ли тому, что она краше, добрее и лучше тебя. Знаешь ты, что она вся твоя и — сам ты; а зависть к себе самому невозможна. И бывает стыдно тебе оттого, что ты ниже и хуже, чем должен и можешь ты быть в силе вашей любви. И боишься тогда, что разлюбит она; забываешь о вашем единстве и силе моей, забываешь, что истинный ты в ней, в любимой твоей. Не завидуешь ты себе самому, не завидуешь ей: нет зависти в триединстве моем. И если любимая твоя любит других, красивейших и лучших, чем она, они должны быть в ней и ею (ПС).*

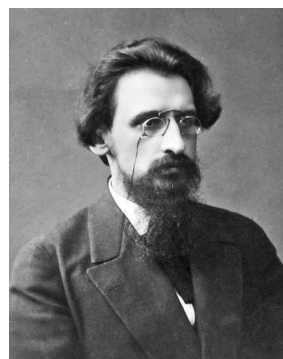
## 7.

Интерес к истории проявился у Елены Скржинской еще в гимназические годы. При всей ее любви к «живой», как она говорила, культуре XIX века западное средневековье с его характерным психологическим напряжением и драматизмом привлекало Елену Чеславовну особенно. Как о важнейшем событии школьных лет она помнила о своей работе над сочинением о Бернарде Клервоском и первое признание, которым была вознаграждена за свой добросовестный труд: педагог попросил автора прочитать его перед классом. Тогда же, учась в гимназии, она переняла у преподавателя истории почтение к Италии как к стране исключительного значения для европейской культуры. Эту же «италийскую» атмосферу она нашла в университете, а перед тем — на Бестужевских курсах. К курсисткам, избравшим своей будущей специальностью историю западного средневековья, предъявлялись весьма высокие требования. Елена Скржинская к своему поступлению уже знала основные европейские языки, основы итальянского и латинский. Занимаясь на семинарах у М. И. Ростовцева, она пробовала свои силы в чтении греческих авторов [26, с. 491].

Елена Чеславовна восхищалась научным талантом Карсавина-медиевиста. Нередко очарованность ученика своим учителем оказывает ему коварную услугу, так что он, в точности усваивая интонации речи, жесты и манеры своего кумира, теряет свою индивидуальность, становится его слабой копией. Благодаря цельности натуры Елены Чеславовны, с ней такого не произошло. Оставшись собой, она смогла одновременно многое усвоить от способа мысли Льва Платоновича и многое взять от своего научного руководителя Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской<sup>30</sup>. Последняя, кстати, отмечала не просто наличие отменных интеллектуальных способностей своей воспитанницы, но ее «тонкую ученость», глубокую и разностороннюю, а также яркую, живую талантливость, литературную, педагогическую и научную [Цит. по: 26, с. 491].



*Е. Ч. Скржинская  
на балконе дома № 14  
на Ольгиной улице.  
Петроград, 1915 г.  
Фото из семейного архива  
М. В. Скржинской*



*Лев Платонович Карсавин.  
Петроград, до 1922 г.*

<sup>30</sup> О. А. Добиаш-Рождественская — медиевист, палеограф и писательница, член-корреспондент АН СССР (1874–1939).



К двадцати годам Елена Скржинская была уже очень хорошо сложившейся, организованной и очень устойчивой по характеру личностью, в противоположность Карсавину совершенно свободной от каких-либо перепадов настроений. В ней расцвела особая, пленявшая своей глубиной и силой женственность, за которой проглядывала не только решительность, но и властность натуры. Этим качествам еще предстояло получить свое развитие в отношениях со Львом Платоновичем...

В сложившейся паре Карсавин — Скржинская, в том регистре отношений, в каком они в своей подоснове определяют отношения мужчины и женщины, ведущей была она. Оба они об этой межличностной «диспозиции» знали, и оба ее приняли как данность.



Картон «Трон Людовизи».  
Хранится в семье М. В. Скржинской

подарил ее Елене Чеславовне, посчитав необходимым собственноручно сделанной надписью на обороте обозначить нечто важное в их отношениях:

*Гордое сердце богов и людей Ты, Афродита, смиряешь.*

Глядя на это изображение и едва различимый в ночи купол собора за Невой в окне своего кабинета, на огни его факелов, зажигающиеся до революции в пасхальные праздники, Лев Платонович выплескивал свои чувства и мысли на страницы писем. Этим он пытался утолить жажду быть рядом с Лёшей, несмотря на постоянные совместные вечера на Крестовском и долгие разговоры с ней по телефону. Строчки этих посланий стали воплощением той абсолютной, божественной власти над ним, которую он признал за вполне конкретной петроградской Афродитой.

*Любовь моя — я и она, моя любимая, и это — большее, чем мы: сама Всеединная жизнь, нисшедшая в нас, объединившая нас и единая с нами. Она подьемлетя из пены морской, поддерживаемая переплетающими с ее руками, склоненными к ней и друг к другу девами — это души наши... (NP).*

<sup>31</sup> Картонный барельеф воспроизводит центральную часть трона Людовизи, изваянного греческим скульптором в V в. до н. э.

*Хотелось мне поцеловать (в первый раз) Элените. Но боялся я и колебался, вспоминал: «твоей святыни не нарушит поэта чистая рука». Чтобы отвлечься, говорю: «Посмотрите, как прекрасны на фоне лазурного неба зеленые березки». А Элените: «Что тут разговаривать! Целовать надо!» Так и сказала: «целовать». Не любила среднего залога: «целоваться»... Удивительная девушка была Элените, властно-нетерпеливая, валькирия! Победила в себе обиду, горькую и справедливую обиду на меня. Но не победила своей любви и — сломила слабую мою волю... (ПС).*

## 8.

Волевое лидерство по отношению к Карсавину-возлюбленному Скржинская как-то легко, без видимых усилий совмещала с признанием его безусловного интеллектуального авторитета и выдающихся способностей ученого-медиевиста. Когда Елена Чеславовна стала самостоятельным и авторитетным ученым, коллеги отмечали индивидуальные черты в ее подходе не только к источнику, но и к историческому времени, и к культурам разных периодов. Заметная часть этих характеристик перекликается с чертами карсавинского метода, с его подходами к истории. Сама Скржинская настаивала на «теснейшем и вразумительном соприкосновении с источником» [35, с. 22], вообще характерном для исторических работ всей школы И. М. Гревса, и особенно для историко-культурных работ Л. П. Карсавина.

Один из самых авторитетных мировых византистов XX века Георгий Александрович Острогорский<sup>32</sup> восторгался тщательностью, строгостью, уверенностью и ясностью аргументации Елены Скржинской, «как в положительных выводах, так и в критических замечаниях»<sup>33</sup>. Тонко воспринимающий творчество Елены Чеславовны и работавший рядом с ней В. И. Мажуга<sup>34</sup> сразу указывает на роднящее с карсавинским горение ее научной мысли: «Пафос научной деятельности Е. Ч. в немалой мере определялся страстным желанием показать, что памятники истории часто намного содержательнее, чем принято считать в науке» [26, с. 493]. Она часто повторяла, что решению поставленной себе задачи должна соответствовать «вдохновенная» работа [Там же, с. 498].



Обложка одной из многих научных книг Е. Ч. Скржинской

<sup>32</sup> Георгий Александрович Острогорский (1902–1976) — югославский ученый российского происхождения, эмигрант первой волны.

<sup>33</sup> Правда, при этом Г. А. Острогорский отдавал должное тому, что с одновременной решительностью аргументы Е. Ч. Скржинской были и осторожны [Цит. по: 26, с. 40].

<sup>34</sup> В. И. Мажуга — ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (СПБНИИ РАН), член Международного комитета по латинской палеографии и редколлегии известного журнала «Historiographia linguistica» (Benjamins, Amsterdam/Philadelphia).

В советское время в каждой области работали честные ученые, но было и немало бездарей и начетчиков, партийных чиновников от науки. Но постепенно даже самые добросовестные специалисты в силу получаемого со временем все более идеологически ориентированного образования, многие гуманитарии стали относиться к древности с высоты исторического материализма, т. е. чрезвычайно снисходительно. Среди медиевистов таких ученых было заметно меньше. Но даже на фоне работ коллег труды Елены Чеславовны выделялись доверием к уму и знаниям древних авторов, твердой убежденностью в разумных началах культуры и культурного творчества в каждую историческую эпоху. Отношение Скржинской к источнику выражалось в том, что сам документ для нее был ценен наравне с излагаемыми в нем событиями. Работая, она как бы поворачивала памятник перед собой, рассматривая его со всех сторон одновременно внешним и мысленным взором, чтобы максимально полно и точно раскрыть его внутренний образ. Когда же Елене Чеславовне приходилось описывать картины умозрительного характера, она учитывала «особенности фонетического правописания, грамматики и синтаксиса, способы сокращения слов, формулярный, способы датировки, характерные риторические приемы, лексический состав и особенности построения мысли. В ее трудах ощутимо переживание самого культурного творчества, совершавшегося много столетий назад» [Там же, с. 499].

Тексты Е. Ч. Скржинской отличаются не только своим точным языком, но и гармоничной композицией — сказывается ее музыкальный талант и многолетние



*Мария Вениаминова  
Юдина. Ленинград,  
ориентировочно 1934 г.  
Фото из семейного архива  
М. В. Скржинской*

занятия в Петроградской консерватории. Занималась с ней знаменитая Мария Вениаминова Юдина, ставшая пожизненным другом Елены Чеславовны, и, кстати, хоть и не окончившая полного курса, но получившая основательные знания на историко-филологическом факультете Петроградского университета<sup>35</sup>. Широкую образованность Юдиной в сфере античной и современной литературы, философии, ее верность православию отмечали многие светские и церковные авторитетные ученые, деятели культуры. Для Скржинской она стала доверенным лицом в период ее отношений с Карсавиным и надежным хранителем ее писем с сокровенными исповеданиями чувств<sup>36</sup>. Музыкальная тема во встречах Карсавина, Скржинской и Юдиной занимала свое место, так что в названии карсавинской книги «Симфоническая личность» есть особая нота их дружбы.

<sup>35</sup> Е. Ч. Скржинская была последней, с кем Мария Вениаминовна занималась в качестве педагога и в качестве утешения после неудачной поездки в Берлин [43, с. 60].

<sup>36</sup> Некоторые из этих писем были впоследствии «уничтожены самой судьбой», а некоторые возвращены Елене Чеславовне. С годами Мария Вениаминовна произвела переоценку «попытки увести Льва Платоновича из семьи», их дружеские отношения заметно охладели [Там же, с. 61].

В отношениях с Еленой Чеславовой осознавал свое существенное профессорское превосходство в сфере исторической науки. Но еще больше он надеялся получить признание Еленой Чеславовой его стихотворного таланта. Одним из главных признаков настоящей поэзии Лев Платонович считал сочетание в стихах общего и жизненно-конкретного. Его собственный излюбленный жест, как в поэзии, так и в метафизике, — соединить биографическое, реальное с отвлеченно-умозрительным, мимолетное с исторически значимым. Поэтому тексты «Noctes Petropolitanae» и «Поэмы смерти» устремлены к сочетанию горизонтали социального и вертикали духовного значения и подчинены автором законам поэтической полифонии и гармонии. В своем настойчивом желании соответствовать им в обоих произведениях Карсавин так последовательно проводил единую линию торжествующей и одновременно страдающей любви, целостной и разъятой, что если расшить страницы «Ночей» и «Поэмы», а потом произвольно сложить, возникший шов будет замечен в редком случае.

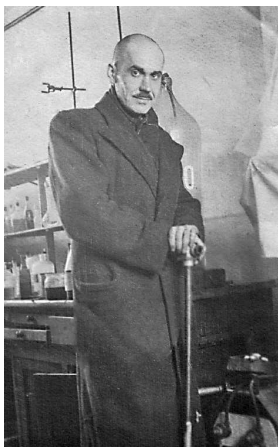
*Во всем мире несетя огненный вихрь разрушенья, слышен многоголосый клик утверждающей себя твари, невыносимый стон твари погибающей. Но мера закона сковывает стремительное движение, определяет орбиты бесчисленных звезд и слагает в единую симфонию клики радости и стенания муки. И рука об руку с неумолимую Смертью несетя объединяющая все Жизнь, нами именуемая Любовью. Любовь в лоне своем содержит все разъединение и всю разъединенность, над бездной небытия подьмлет все сущее, все объединяет, все восстанавливает. Она все из себя изводит и в себя все возвращает. И уже не любовь она, противостоящая ненависти, не жизнь, враждующая со смертью, не наслажденье, отрицающее муку, она — единство всего этого, дух Божий, живущий в Адаме (NP).*

*Что же это за жизнь, если в ней нет умирания? В такой «жизни» ничего не исчезает и, стало быть, ничего и не возникает. В ней нет недосказанного и мимолетного. Любви в ней нет, и ей нечего отдать, нечем пожертвовать: все стоит на месте, неотъемлемое, неизменное. Это не жизнь без смерти, а смерть без жизни: то, чего нет.*

*Трагичен мир, но и прекрасен. — Все убивает и погибает, но из смерти рождается новая жизнь. Неодолим вихрь разрушения; невыносима симфония воплей, проклятий и стонов. «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет». Но не забывает ли мать о смертных своих родовых муках, «ибо новый человек родился в мир?» Не сияющий ли космос восстает из темного хаоса? Да и в самом хаосе, в разрушении и смерти не бьет ли ключом все та же безумно щедрая жизнь? В бесновании бури не слышна ли Божественная тишина? (ПС).*

## 9.

Анатолий Анатольевич Ванеев, духовный и интеллектуальный наследник Льва Платоновича, припоминая свои встречи и подробности их общения, многие



*Анатолий Анатольевич Ванеев, ученик и душеприказчик Льва Платоновича Карсавина, которому мы обязаны книгой «Два года в Абези» о последних годах жизни мыслителя. Снимок сделан сразу после освобождения из Абезьского лагеря. Инта, 1954 г. Фото предоставлено автору Львом Анатольевичем Ванеевым (Калифорния)*

годы сосредоточенно вдумывался в метафизику Карсавина. После освобождения из лагеря<sup>37</sup> он оберегал уже однажды им спасенные произведения от случайной утраты — обыска, пожара, пропажи. Для этого Ванеев годами так настойчиво делал копии, так стремился максимально точно воспроизвести все детали оригиналов последних работ знаменитого абезьского узника, что его почерк стал почти неотличимым от карсавинского. В очередной раз переписав в школьную тетрадь «Основные идеи современной метафизики» и «Комментарий к Венку сонетов», сразу после окончания карсавинского текста Ванеев продолжает его признанием своему лагерному другу Владасу Шимкунасу: «Учение старика совершенно мной завладело, я им главным образом <...> живу» [46].



*Анатолий Анатольевич Ванеев. Ленинград, 1982 г. Фото предоставлено автору Львом Анатольевичем Ванеевым (Калифорния)*

В своих глубоко продуманных произведениях<sup>38</sup> Анатолий Анатольевич, несомненно, более чем кто-либо понимающий и чувствующий Карсавина, стремился раскрыть для будущих читателей суть и значение его философских и богословских идей. Предупреждая, что предубеждения или поспешность могут направить читателя по ложному пути, Ванеев настаивал, что метафизическая мысль Карсавина «имеет корень не в абстракциях, а в живой и конкретной любви — чистой, ясной, прекрасной и вместе с тем мучительной, не осуществившейся, но неизменной до порога старости. В письме к Е. Ч. Скржинской (от 1 января 1948 г.) он пишет: «Именно Вы связали во мне метафизику с моей биографией и жизнью вообще». Абстрактная мысль Л. П. Карсавина своими корнями всегда живет в лоне конкретной действительности, его идеи есть результат — не то слово, — они есть плод активного религиозно-философского осмысления собственной жизни и человеческой истории» [Цит. по: 4, с. 345]. Анатолий Ванеев не стал касаться в очерке личностной сложной, интимной стороны появления «Noctes Petropolitanae» и того,

<sup>37</sup> Подробности биографии А. А. Ванеева в: [3].

<sup>38</sup> «Два года в Абези», «Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина» и др. [3; 4].



как она определила дальнейшую судьбу ее автора. Но он знал о последствиях, случившихся в жизни автора и его героини в результате той неподобающей откровенности, какой отличалась эта книга.

Текст «Ночей» переполнен вполне реальными обстоятельствами, сугубо интимными переживаниями и подробностями отношений, которые нормами приличного общества не принято было выносить в публичную сферу в то время. Даже сегодня, во времена сравнительно более вольных взглядов, они могут обескуражить. Притом что слишком многие знали и Карсавина, и Скржинскую, а их роман стал предметом пересудов, автор не только не скрыл лирических героев обобщениями или творческим вымыслом, но сделал их легко узнаваемыми для многих лиц, знающих двух влюбленных.

Еще до выхода книги в свет Лев Платонович не только не прилагал усилий, чтобы скрыть свой роман от окружающих, но вызывающе выставлял все напоказ. Он буквально опьянел от переполнявшего его чувства и в этом любовном дурмане мог вдруг начать фиглярствовать как оживший персонаж Достоевского. Профессор, например, мог раскатывать на велосипеде своей возлюбленной студентки по длинному факультетскому коридору. Студентов это только забавляло, а многие коллеги видели в этом оскорбляющее их поспание всех моральных норм [24, с. 76]. Но даже этот пример эпатажа не идет в сравнение с тем вдохновением творческого азарта и какой-то отчаянной нравственной расхристанностью, с какими он писал свои письма ей, а затем перенес эти места в «Ночи». В глубоком опьянении собственными чувствами Карсавина совсем не волновало, что окружающие вскоре стали расценивать происходящее с ним не просто как временно поразившую его духовную недисциплинированность, а характерную черту его личности.

В стремлении ярче раскрыть свой замысел, Карсавин поместил в книгу не так давно опубликованную статью «Федор Павлович Карамазов как идеолог любви»<sup>39</sup>, но уже в качестве неотъемлемой части работы. До того принятая публикой спокойно, но обрамленная антуражем узнаваемых людей, «Ночь вторая» заметно добавила работе скандальности. Всю эту одну большую провокацию Карсавин устроил продуманно. Она была уже потому сознательным действием, что исходила из его требования внимания и к себе, и к озарившим его идеям. «Ночами» автор заявлял о себе как о новоявленном религиозном философе и поэте. Поэтом он считал себя и раньше, а философом действительно стал в этой книге и очень хотел быть услышанным.

Его молитвы достигли небес<sup>40</sup>, Бог всегда слышит нас. Но, откликаясь, Он чаще всего дает нам желаемое не в том виде, о чем мы просили, что нас порою ввергает в печаль. «Ночи» принесли Льву Карсавину популярность, но это была известность с отрицательным знаком. В будущем это повторится не раз с какой-то отмеренной

<sup>39</sup> Карсавин склонен был считать Достоевского «величайшим русским философом», и как это часто у него было, в демонстрации своих пристрастий меры знать не хотел [5, с. 491].

<sup>40</sup> Лев Платонович писал П. П. Сувчинскому: «как всегда склонен без особенных результатов ожидать непосредственных указаний от потустороннего мира» [8].

Льву Платоновичу методической назначенностью свыше: он мечтал о сытом профессорстве и получил его. Должность с ежемесячным жалованьем в размере 3500 литов, что в сто (!) раз превосходило зарплату его домработницы и большинства рядовых жителей Каунаса, почёт и внимание... Но вместе со всем этим — долгое духовное одиночество, ломавшее изнутри, толкавшее на нравственно непозволительные крайности<sup>41</sup> и вогнавшее в неврастению, от которой он «очень похудел и почернел»<sup>42</sup>. Он говорил окружающим, что хочет закончить жизнь монахом [42, с. 495] — в качестве подходящего места для аскетической молитвы ему были предоставлены тюрьма и инвалидный лагерь...



дыхательные аппараты. По этой же причине приходится устанавливать особые приспособления, так как аэроплан встречает на высоте 11 верст очень слабое сопротивление воздуха.

**Книжная полка.**

**А. Карсвин — «Noctes Petropolitanae», Петербург, 1922 г.** — По русски это значит «Петербургские ночи». Книга написана, как говорится в предисловии, только для просвещенных и действительно просвещенных людей. Там же говорится, что «единственно справедливым издателям обстоятельством может служить только его искреннее

нечное зати проверить, я постъ теории затменяя из ед в союзз лает фотог затем эти сивками т пражда я через это что ветух менает на жения звеа ствательно амий звеа; получат 6.

Первая страница газеты «Воронежская коммуна» № 178 (880) от 9 августа 1922 г. с фрагментом рубрики «Книжная полка». А. Карсвин — «Noctes Petropolitanae». Из фондов библиотеки Воронежского государственного архива

<sup>41</sup> Лидия Николаевна с нескрываемым ужасом писала дочери: «на папино рождение папа купил дорожайшего вина, кажется, 60 lit. Я считаю это ужасным и готова и сейчас заплакать». И ведь было от чего заплакать — потраченная сумма была равна двойному (!) месячному заработку домработницы Карсвиных. И это еще было далеко не самым шокирующим «коленцем» из всего, что позволял себе Лев Платонович 4.II.37.

<sup>42</sup> Из письма к дочери Ирине Лидии Николаевны Карсвиной, только через 8 лет (в 1936 г.), наконец, приехавшей в Каунас к мужу. 13.VII-36.

Скандал, последовавший после выхода «Noctes Petropolitanae», неожиданно проявил еще одну важную сторону. Замечательнее всего было не то, что беспощадный столичный критик<sup>43</sup> «Петербургских ночей» прямо обвинил Карсавина в описании акта дефлорации, порнографии и пр. И даже не то, что атеистический журнал поставил на вид автору, претендующему на статус православного философа, грубое попрание христианских норм. Важнее, что автор рецензии расслышал в тексте мотив безысходности и тупика. Пародируя стиль Карсавина, он пророчествовал о том, что автор в результате получит «триединую антиномию — сатанинский и inferнальный отчетливый кукиш» [45, с. 274]. С этим ощущением поразительно совпал в своем отклике на книгу (ведь тоже разглядел ее из своей провинции и выделил!) Андрей Платонов [1, с. 5]. Чуткий слух этих двух незаурядных критиков различил то, в чем Лев Платонович до конца не хотел самому себе признаваться, когда убеждал Елену Чеславовну, что готов разорвать свой брак, «созданный не на любви, а на холодном расчете»<sup>44</sup>. Особого расчета, впрочем, в его обычном значении не было, под таковым он понимал свою раннюю женитьбу, основанную на незрелом доводе «пора обзаводиться семьей» в сочетании с отсутствием глубоких чувств. Рождение детей привнесло понимание того, каким роковым образом судьба супруги и дочерей зависит от его жалованья и положения.

*Но страшно, когда в такой союз, разрушая его, вторгается Любовь, беспощадная Хатор, когда муж или жена, отец или мать познают ее, когда кто-нибудь из них найдет избранную душу и с ужасом поймет свою роковую ошибку. Увлечет ли его могучая стихия и воля его, Правду Любви познавшая; разрушит ли он долгий союз, ядом причиненных страданий навсегда отравив свою новую жизнь? Достанет ли в нем сил принять в себя истинную радость, не отказавшись от мук? Сумеет ли он улыбнуться в ответ на улыбку того, кого, наконец, нашел? Поймет ли подвиг свой как путь на Голгофу? Или победит быт, победит «долг», предписанный исконными формами жизни, и горькие слезы угасят пламя Любви, и, от нее отказавшись, отказавшись от того, кого любит, от себя самого, останется он доживать свои серые дни, может быть — в терпеливом молчаньи, может быть — в остром горе для себя самого и других? (NP).*

## 10.

Ровно через год после высылки Льва Карсавина из советской России вышел девятый номер берлинского журнала «Вестник самообразования» с его статьей «Любовь и Бог». Тогда же, в сентябре 1923 года, немецкую столицу покинула Елена

<sup>43</sup> А. Юрлов — один из литературных псевдонимов футуриста Сергея Павловича Боброва (1889–1971), русского, советского поэта, литературного критика, переводчика, художника, математика.

<sup>44</sup> Слова о таком браке тоже звучат в «Noctes Petropolitanae», Лев Карсавин опять говорит о себе, поскольку «эта голубая книжечка написана для одного человека» [22, с. 128].

Чеславовна Скржинская, до этого в мае приехавшая в Берлин вместе с сестрой Ириной [39, с. 473]. Спустя годы это вспоминалось ею так, что *она уступила* его настойчивым просьбам и очередным обещаниям соединить жизни, но повторилось то, что несчетное число раз уже происходило в Петрограде [см.: 33]. Он действительно продолжал в нерешительности разрываться между любовью к ней, семейным долгом и отцовскими чувствами.

Трудно сказать, как было на самом деле. Может быть убеждая и обещая, он считал ее приезд невозможным в реальности, а слова об их встрече и соединении жизней были не более чем фигурами речи, очередными упражнениями в метафизике... Но она приехала, и прошел месяц, за ним другой, потом третий... Дерзая братья за проблемы Непостижимого, разъяснять отношение Бога к человеку, а человека к Богу, Карсавин не смог решить самую простую человеческую задачу — по-мужски взять на себя ответственность и сделать выбор между «да» и «нет». Елена Чеславовна, со своей женской пронизательностью и тонкостью ума, конечно, разглядела этот духовный инфантилизм Льва Платоновича. Ей, совсем даже не Афродите, а вполне земной женщине, приехавшей на деньги, с огромным трудом собранные матерью, теперь слишком дорого обходились его философско-поэтические упражнения.

Но была в ее приезде совсем иная сторона, потому что совсем не случайно наиболее близкие и доверенные в то время к ней и к нему друзья в своих письмах<sup>45</sup> допускают слова, позволяющие расценить приезд Елены Чеславовны и как *ее* настойчивую, в чем-то даже силовую инициативу. Но осужденный к семейному долгу Карсавин предпочел следовать ему и еще раз пройти через то, что нашло свое выражение в слове «разрыв».

Митрополит Антоний Сурожский как-то сказал, что в наших словах «Я люблю» часто слишком большим бывает именно «Я». Это замечание без всяких зазоров подходит к «Noctes Petropolitanae». Что-то от этой позиции, пусть уже не в прежней мере, передалось в берлинскую статью. Значительно сильнее в ней сказались тяготы эмиграции — острая неустроенность и постоянная угнетающая неопределенность будущего. Нет оснований умиляться романтически окрашенному рассказу о том, как Лев Платонович подался в кино статистом, а какой-то режиссер на съемочной площадке «сразу отвел ему роль профессора» [38, с. 11]. В этой истории проступают безобразные, унижительные черты крайней нужды семьи Карсавиных, абсолютное безденежье и отчаяние усилий *любим способом* заработать деньги<sup>46</sup>, чтобы накормить близких обедом.

<sup>45</sup> Правда, такие признания прозвучали спустя многие годы, прежде всего, в письмах П. П. Сувчинского и М. В. Юдиной [см.: 43; 44].

<sup>46</sup> «Деньги вышли и надо искать заработка: жизнь вздорожала до крайности, а у меня много нуждающихся в помощи. Этого заработка ищу. Вероятно рано или поздно найду...» [см.: 24, с. 364]. А.Клементьев сообщает, цитируя письма Карсавина, что он много писал для русских и немецких периодических изданий, желая «не столько высказаться <...>, сколько заработать» [Там же].

Все это передается в тексте той журнальной статьи через срыв стиля, нервозность и неровность рассуждений Карсавина о любви и Боге. Чувствуется, как теперь он с усилением старается отвести, обойти стороной интимную сторону своих отношений с Еленой Чеславовной, пытается перестать переминать остывающие, но все еще сохранившие остроту чувства. И все же «вихри огненного безумия» с их «тоской и мукой» просачиваются в текст [17].

«Себялюбие невозможно», — пишет он. Вот так — ни больше ни меньше. Откуда у такого искушенного автора, привыкшего свободно разворачивать свои утверждения в широкое полотно аргументаций и пояснений, неожиданно появилась такая интеллектуальная краткость и нравственная лихость? Оттуда же, откуда Карсавин старательно указывает на «чрезвычайную неточность, неясность» «обычного» смысла этого слова [Там же] и где становится по-человечески понятной его попытка оправдаться<sup>47</sup>, еще объяснить, что без него они все — и жена, и дочери — просто погибнут.

Да, он опять откладывал «на потом» развод и свое возможное счастье. Но для Елены Чеславовны его отвлеченные рассуждения о любви и Боге звучали слишком размыто и неубедительно. Страстная любовь, желание быть вместе, женское соперничество и еще многое, что ею двигало. Посвященная во многое Мария Вениаминовна Юдина через 40 (!) лет после этой поездки решительно обличит свою былую близкую подругу: «В начале знакомства с Ел. Чесл. мне, молоденькой девчонке, — “романтическая концепция” сей прерванной их встречи представлялась только с ее точки зрения и в возвышенном плане лишь. Прожив и продумав жизнь, узнав цену отречений разных, я всецело “держу сторону” семьи покойного Льва Платоновича. <...> я сочла уже невозможным стремиться к восстановлению<sup>48</sup> дружбы с Ел. Чесл. Скржинской, как с женщиной, желавшей увести Льва Платоновича из его семьи. “Noctes Petropolitanae”, мне кажется, — книга, которая не красит общий багаж замечательных трудов незабвенного автора, а заблуждаться и увлекаться — удел всех людей, но Господь не привел к разрыву, и иначе быть и не могло» [43, с. 42].



*Елена Чеславовна Скржинская,  
сотрудник Российской  
Академии истории  
материальной культуры  
в Берлине, 1923 г.  
Фото из семейного архива  
М. В. Скржинской*

<sup>47</sup> В письме П. П. Сувчинскому Карсавин пишет: «...есть опасность, что я низвожу свою философию на роль адвоката собственного моего ничтожества. Но я думаю, что все мое поведение и вся моя жизнь одинаково скверны со всякой точки зрения. <...> то, что я делал, вовсе не отказ от себя, а м. б. весьма злостное самоутверждение» [Цит.: 24].

<sup>48</sup> Орфография письма сохранена.



Для Льва Карсавина отъезд Елены Скржинской из Берлина стал освобождением от непосильной душевной нагрузки<sup>49</sup> и очередной отсрочкой необходимости сделать непосильный выбор. Но даже близкому своему другу, мужу старшей дочери П. П. Сувчинскому, он не признался, что *это она сделала выбор за него*, и сказал, что сам принял сторону семьи: «Ну что же — я останусь, но я буду “ничьим” и буду доживать жизнь, как мертвый». «Увы, — написал позже Петр Петрович, — так и случилось» [Там же, с. 60].

*Удивительно, как еще живет разум, ибо ведь он — я сам, а я-то живу. Живу ли? — Нет желаний, которые бы осуществлялись. Нет веры во что бы то ни было. Порожденное темною душою сомнение вернулось в нее и стало ее безволием. Все бессильно разлагается... — Уныние, тление, которому нет конца; не жизнь и не смерть, а — вечно живущая смерть (ПС).*

## 11.

Вопреки устоявшемуся мнению, берлинской осенью 1923 года их попытки воссоединения не закончились. Разрыв оказался прерывом<sup>50</sup>. Через семь долгих лет — в 1930 (!) году — Мария Юдина, тогда еще близко сочувствуя Елене Чеславовне, постарается поддержать ее женскую решительность к тому необходимому действию, что «лучше» для счастья любимого: «Бессильна утешить, ибо знаю, что этого не может быть. Только хочу, чтобы Вы ехали, будь что будет — ах, при всей разнице нас<sup>51</sup> — не слишком ли мы бережливы и оглядчивы? Очертя голову, влепую — не лучше ли для них? Разве что-либо важное в жизни бывает без страшного риска — не на жизнь, а на смерть?» [44, с. 193].

Но возлюбленная Карсавина так и не приедет к нему в Каунас...<sup>52</sup> Что-то остроболезненное происходило между ними в этих уже изломанных, надорванных временем отношениях. В глухой европейской провинции<sup>53</sup> Лев Платонович

<sup>49</sup> После ее отъезда в конце ноября 1923 г. он пишет П. П. Сувчинскому: «У меня, конечно, есть светлый пункт — это все та же тебе известная Метаф<изика> Христ<ианства>. Ее пишу днями и ночами, и все осмыслю превосходства отказа от себя и своего. Лицемерия в моей работе нет, усилий много...» [Цит. по: 24].

<sup>50</sup> Прерыв — одно из ключевых понятий в метафизике Л. П. Карсавина.

<sup>51</sup> Курсив в тексте принадлежит М. В. Юдиной.

<sup>52</sup> В 1930 г. Елена Чеславовна была уволена из Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) вследствие проводившейся тогда «чистки». Ей были поставлены в вину посещение церковной службы и приверженность идеям Л. П. Карсавина [см.: 26]. Обращает на себя внимание то, что и жена, Лидия Николаевна, целых восемь (!) лет — с 1928 по 1936 г. — не станет покидать Париж. Это косвенно подтверждает непростое душевное состояние Льва Платоновича и существовавшее напряжение в отношениях между главой семьи и его родными.

<sup>53</sup> Центральный городской водопровод появился в столице Литвы только в декабре 1929 г., городскую канализацию только начали строить несколькими годами раньше [см.: 30]. Переезд из бурлящего Парижа в Каунас может расцениваться как самому себе назначенная культурная ссылка.

получил давно желаемое положение и жалование, позволяющее обеспечить вполне достойное существование Лидии Николаевне с дочерью. Оставшихся денег вполне хватило бы для совместной жизни с Еленой Чеславовой. Извечный аргумент «Сейчас невозможно» утратил силу, и возможность воссоединения с ясностью открылась в настоящем. Но именно это — *их настоящее*, по какому-то очень высокому счету, никогда не воспринималось Карсавиным всерьез как то, что *может длиться и присутствовать* в его реальной жизни... Он относился к нему как к эквиваленту несовершенной реальности, как к некоему «моменту», отвлеченности, умозрительной абстракции между уже исчезнувшим прошлым и еще не рожденным будущим. В этот, выражаясь его излюбленным словечком, «прерыв» настоящего уместилась вся «Поэма о смерти».

То, что жизнь его может угнездиться в чередовании будней семейной жизни, Карсавина пугало. Память о пережитом когда-то сильном чувстве, перевернувшем и преобразившем все существование, открывшем для него пространство живой мысли, все это время творчески питало философствующую мысль. Теперь далекая точка на горизонте будущего приблизилась вплотную и оказалась высокой прочной стеной. Открыть в ней дверь и шагнуть в глухой двор однообразий и привычки? Это значило бы оказаться в плену обыденности, позволить, чтобы она пережевала и уничтожила все самое важное, что было в его жизни? Вместе со смертью любви он мог потерять самое ценное, что в ней же и обрел, — способность к созерцанию, как основу собственной духовной жизни. Для Елены Чеславовны, с ее способностью распознавать людей, было нетрудно понять все, что присутствовало между строк в его письмах из Литвы.

Как бы ни было ей тяжело, она сняла с него непосильный груз выбора и отвела от него страхи. Но еще долго ее женская душа оставалась уязвленной, пока с материнством не пришла свобода от переживаний<sup>54</sup>. Это случилось позже, когда она прошла через годы скорбей, через несправедливое увольнение из Государственной академии истории материальной культуры. Ей пришлось перебиваться случайными заработками переводчика, и она уцелела в ужасах блокады. Ее вопрос, обращенный



*Елена Чеславовна у своего дома на Ольгиной улице. Ленинград, 1930 г. Фонд библиотеки Вильнюсского музея*

<sup>54</sup> Марина Скржинская родилась в 1939 г., Елена Чеславовна дала ей отчество такое же, какое было у ее матери [Θ].

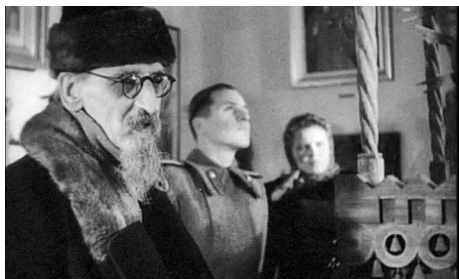
к тем, кто проездом видел Льва Карсавина: «Спрашивал ли о ней?» — будет продиктован одним желанием узнать, *каким теперь* он стал [43, с. 53].

Что касается Льва Платоновича, то когда воссоединения так и не случилось, он обрел определенность, и с этим ушел страх. Карсавина неожиданно посетило прежнее «петрополитанское» вдохновение. Работа над «Поэмой о смерти» захватила его, и к знакомой симфонии «Петербургских ночей» он добавил новые части.

*Как бледная тень, живу я-прошлый в себе-настоящем; или: — я-настоящий безжизненной тенью блуждаю и тоскую в моем прошлом. Так, говорят, умерший не расстаётся с родною землею. Незримою тенью витает он там же, где жил и страдал. Мил ему по-прежнему шелест деревьев, желанны жаркие лучи солнца, бесконечно дороги те, кого навеки оставил. Но — знает он, что шелестят деревья, вслушивается и... ничего не слышит; — ищет солнечных лучей и... не находит, не видит. Хотел бы он коснуться любимых, отереть их слезы, сказать им ласковое слово, шуткою вызвать улыбку. Но — ничего не выходит: он бестелесен, безвиден, бессилен. Живет ли он? — Нет, живут лишь люди, а не призраки. Мертв ли? — Только для живых его нет, и мучительно хочет он жить... (ПС)*

## 12.

«Каким он теперь стал?..» Как за их разлукой, так и за настойчивым интересом Елены Чеславовны скрывалось то различие двух богатых натур, какое для всех остальных было очевидно с самого начала. Но молодость, не только исполненная жажды любить, но и уже нашедшая эту любовь, не склонна размышлять над жизненными последствиями таких «пустяков», как какие-то там несовпадения. Когда же двоих настигает любовь-страсть, она и вовсе несовместима с житейской раздумчивостью, иначе и не была бы страстью... С возрастом запоздало приходит понимание многого, но с ним же появляются новые страхи, а некоторые наши не самые лучшие качества цементируются.



*Л. П. Карсавин проводит экскурсию для советских военнослужащих во вновь открытом Вильнюсском художественном музее.  
Кадр из кинохроники 1945 г.*

Как человек дисциплинированный, к тому же еще и «тонкого ума»<sup>55</sup>, Скржинская не признавала безответности вопросов, не случайно она говорила о себе, что «чувствительна к неясности» [26, с. 494].

Узнав после войны, что Карсавин — в Вильнюсе, что стал с присоединением Литвы советским гражданином и, следовательно, открылась возможность переписки и встречи, в письме к М. В. Юдиной, собравшейся в Литву с концертами, Елена Чеславовна дала ей подробную «ин-

<sup>55</sup> Характеристика О. А. Добиаш-Рождественской уже использовалась нами, см. выше.

струкцию»: «Хотела бы, чтобы Вы *ровно ничего*<sup>56</sup> обо мне ничего не рассказывали, ровно ничего. Если бы зашла речь обо мне, исходящая из *его* вопросов... то прошу сказать, что я жива-здорова, пережила голодовку, уцелела, работаю в Ин-те Ист. Мат. Культ. И более — *ни о чем!* При этом можно повторить мой адрес, кот. ему известен, но мог затуманиваться в памяти. (Вам скажу, дружественному человеку, что я-то хотела бы иметь от него письмо, но еще более — повидать его.) Дайте понять, что советские люди могут переписываться беспрепятственно<sup>57</sup>, и что мне можно и *следовало бы* написать» [44, с. 52–54].

Маленькая интрига удалась, Карсавин откликнулся. Как рассказывала Елена Чеславовна, Лев Платонович написал, что, читая ее письмо, он вновь увидел себя молодым и влюбленным и все вокруг него преобразилось [34]. А она сразу разглядела в его письме былые слабости — изъяны личности всегда рельефнее проступают в старости. Оценка значения его метафизики была за пределами ее способностей — в конце концов, вины ее в том нет, во всем повинна Каллиопа...

В ответном письме Скржинская вынесла Карсавину свой безжалостный приговор: «Спустя 24 года, после последнего свидания, я еще с большой уверенностью повторяю свое определение — плохо, неправильно, несправедливо и ненужно избрали Вы свой путь. Утверждаю я это сейчас, совершенно освобожденная от былых чрезвычайно острых чувств, вызванных тем поворотом жизни, который избрали Вы... Только в беседе могла бы я выразить свое к нему отношение. Одно лишь скажу: снова чувствую, как неверно, чудовищно плохо Вы поступили, как глубоко продолжаете Вы заблуждаться и тешиться своими заблуждениями... (это понятно, но к старости надо, мне думается, от таких утешений отказаться, хоть и тяжело): “в действительности мое поведение не так уж плохо”» [47, р. 8/23].

Из документа "А" в архив СМБ... 4 августа 1947 года в служебный адрес Карсавина Л. П. доставлен документ из дешифровки от него с/б. Документ написан им. Автор документа пишет:

«...многие, почти все строчки этого письма читая было трудно. Только в беседе могла бы я выразить свое к нему отношение. Одно лишь скажу: снова чувствую как неверно, чудовищно плохо Вы поступили, как глубоко продолжаете Вы заблуждаться и тешиться своими заблуждениями. Это понятно, но к старости надо, мне думается, от таких утешений отказаться, хоть и тяжело: “в действительности мое поведение не так уж плохо”»

Спустя 24 года, после последнего свидания, я еще с большой уверенностью повторяю свое определение — плохо, неправильно, несправедливо и ненужно избрали Вы свой путь. Утверждаю я это сейчас совершенно освобожденная от былых чрезвычайно острых чувств, вызванных тем поворотом жизни, который избрали Вы...

Фрагмент формуляра «Алхимика» в Следственном деле Л. П. Карсавина с извлечениями из перлюстрированной почты, адресованной на его имя, с обширной цитатой из письма Е. Ч. Скржинской от 28 июля 1947 г. Из фондов Особого архива, Вильнюс

<sup>56</sup> Курсив, разрядка и сокращения приводятся в редакции Е. Ч. Скржинской.

<sup>57</sup> Трудно сказать, что скрывалось за этим строчками. Вряд ли «святая простота» Е. Ч. Скржинской, лично пережившей политические преследования и передающей Карсавину через М. В. Юдину, что советские люди «могут переписываться беспрепятственно». Цитируемый отрывок письма Елены Чеславовны содержится в наблюдательном деле — части следственного дела Льва Платоновича в качестве результатов перлюстрации его корреспонденции, производимой органами МГБ [47, р. 8/23]. Далее подробности последней встречи Карсавина и Скржинской приводятся на основании личных воспоминаний Марины Владимировны Скржинской, переданных автору [34]. Формулировка «советские люди могут...» говорит о том, что у Елены Чеславовны было ясное понимание возможности попадания письма в руки органов госбезопасности и прозрачный намек на необходимость осторожности.

В этих строчка очень чувствуется, как вопреки утверждениям о свободе от переживаний, Елена Чеславовна поддалась охватившим ее чувствам и забыла, как опасно доверять одним только письмам человека. Написанное часто бывает односторонним эхом реального человека, несет в себе уплощенность его мимолетного настроения. К тому сказанное в письме может встретиться с несовпадающим состоянием того, кому оно адресовано. Но письмо было не одним только выражением обид, слова в нем о беседе были почти явным приглашением к встрече. Карсавину она тоже была нужна.

Вскоре, в начале июля 1948-го он приехал в Ленинград<sup>58</sup> [46, л. 173], но это была грустная встреча. Высокий худой старый человек, с седой головой и бородой, сошел с трамвая под все тем же двенадцатым номером, миновал заросшие бурьяном пустыри.



*Дом № 14 на Ольгиной улице, первый этаж которого ремонтируют для размещения детского сада, 1946 г.  
Фото из семейного архива М. В. Скржинской*

Три липы вдоль улицы, знакомый дом красного кирпича, два ясеня и черемуха у подъезда... Но нет цветов, нет яблонь, нет невысокого забора, окружавшего сад; сам он вытоптан, грубо обломаны ветки пытающейся еще цвести сирени, шумят дети расположившегося на первом этаже детского сада. Он поднялся по много раз пересчитанным восемнадцати ступенькам каменной лестницы. Теперь на втором этаже — коммунальная квартира, в восьми комнатах живут пять семей, а в самой теплой, где в холодные 20-е годы все грелись у печки, — закопченная кухня, где Елена Чеславовна неумело на керосинке готовит еду себе и дочке.

Молодая, тонкая, белокурая девушка стала скромно одетой пожилой женщиной, внутренне гордым и независимым человеком, не рассчитывающим ни на чью помощь в любых жизненных трудностях. Теперешняя ее комната — бывшая гостиная с окнами на север и дверями на столь памятную стеклянную галерею, смотрящую на Крестовку. Большая комната (44 кв. м), очень заставлена стеллажами,

<sup>58</sup> В своих воспоминаниях М. В. Скржинская называет иную дату встречи — 1947 год [34].



кушеткой, на которой так часто сидели в те далекие годы, черным роялем, обеденным и рабочим столом. На стене над ним — та самая «Афродита»...

Когда вечером Елена Чеславовна, всегда обожавшая Пушкина, попросила восьмилетнюю Марину прочесть «какое-нибудь» стихотворение, девочка, «сама не зная почему», произнесла:

«Я Вас любил, любовь еще, быть может,  
В моей душе угадала не совсем...»

Оба были поражены [34], но совершенно по-разному. Елена Чеславовна — неслучайной случайностью... Лев Платонович с трудом справился с волной раздражения, решив, что все подстроено. Потом Марину уложили спать, а они вдвоем всю белую ночь посидели, как прежде, на галерее над тихой Крестовкой. Потом он приходил к ней еще дважды [46, л. 173].



Елена Чеславовна Скржинская с дочерью Мариной.  
Снимок сделан вскоре после приезда Л. П. Карсавина. Ленинград, 1948 г.  
Фото из семейного архива М. В. Скржинской

*Любовь подсказывает, что лучше любимой нет, что в целом мире нет никого ласковей ее и прекрасней... И сам того не замечая, воображает любящий мнимый образ любимой, который тем дальше от его избранницы истинной, чем слабее в нем Любовь, чем больше думает он о себе и верит в шаблоны и схемы. И, может быть, именно этот измышленный образ помешает ему узнать любимую, когда он встретится с нею, или обманет, заставив признать любимой ту, которую он не любит и любить не в силах.*

*Истинная в неточности своей любовь любить. Но развиваясь, она обволакивается ходячими и привычными мыслями, образами и чувствами, не приметно становится шаблонным романтизмом или романтизмом позитивной пошлости (NP).*

### 13.

В «Петербургских ночах» религиозность автора заявила о себе прямо, в «Поэме о смерти» к тому же еще и дерзко. Карсавин давно вышел за границы

компетенции ученого, специализирующегося на теме средневековой религиозности, и тем более ампула переводчика и комментатора мистиков. Творческая свобода, с какой он использовал тексты мистических авторов, подталкивает исследователя к быстрому использованию штампов в отношении к «Ночам» и «Поэмы»: «модернизм», «стилизация», «игра» и т. п. Но очередная «подходящая» клетка той или иной классификации, тот или иной «изм» мало помогают уяснению того, что определяет основное русло карсавинской метафизики. К тому же — это легко пропустить или списать на скрытое цитирование — местами Лев Карсавин выражается о Боге и своих отношениях с Ним с такой пронзительной сердечной интонацией, какая появляется только через опыт личных озарений.

Но *как и почему* Карсавин, и в его лице вообще хорошо образованный человек нашего времени со всем свойственным ему рационализмом и культом науки<sup>59</sup>, разворачивается к вопросам о Боге? Как возникают его личные отношения с верой и мистикой и *каков характер этих отношений*? Отличаются ли его мистические переживания от тех, что охватывали христиан времен первых семи вселенских соборов, на какие любил ориентироваться Карсавин, и от последовавшей следом эпохи Средневековья?<sup>60</sup>

Сегодня атмосфера всеобщего панибратства с темой сверхъестественного в литературе, в кино и телевизионном пространстве, в игровой компьютерной среде, опошляет представление о действительно религиозной христианской мистике. Та короткая личная дистанция Льва Карсавина, на какую он вышел в своих отношениях с Богом, вряд ли кого-то удивляет и, скорее всего, даже не привлекает к себе отдельного внимания. Между тем такие отношения с мистикой у человека были далеко не всегда, она была недоступна для большинства, оставалась уделом избранных единиц и скорее пугала, чем восторгала остальных.

Принципиальный сдвиг в отношениях церковного сообщества со сферой мистического произошел после изобретения книгопечатания, с появлением образованного обывателя. Этот, вчера еще бессловесный в смысле теологии статист стал задавать свои вопросы о вере и даже искать самостоятельные (!) ответы. Очень скоро новая среда выдвинула тех, кто занял на арене истории место, ранее принадлежавшее исключительно Отцам Церкви, определениям вселенских соборов, т. е. учению Церкви. В знаменитой фразе Томаса Линакра<sup>61</sup> содержится изрядная доля

<sup>59</sup> Обращение к научным аргументам и черты преклонения перед наукой заметны даже у С. Л. Франка в его книге «Непостижимое».

<sup>60</sup> Сам Карсавин остро не ставил вопроса о различии в разном характере мистических переживаний в зависимости от культурно-исторического контекста, но чутко указывал на многие важные моменты: «Очень распространено отождествление мистического опыта с одним из видов его — с “эмоциональной мистикой”. И этим ограничивающим отождествлением отчасти объясняется преувеличенная оценка несказуемости. На самом деле мистическими бывают и чувствования, и деятельность, и познание. И конечно, мы должны говорить о мистическом опыте у Плотина, Эриугены, Николая Кузанского, Баадера, Шеллинга, Гегеля». «О началах» [20, с. 15].

<sup>61</sup> «Либо это не Евангелие, либо мы не христиане» [см.: 27, с. 76].

страха и возмущения, связанная с тем, что кто-то *от себя лично*, т. е. без предварительной общецерковной санкции, посмел дополнять священные тексты, пусть даже и используя древние рукописи. Лютер, этот последовавший за Эразмом «наглец»<sup>62</sup>, посмеявшийся, в сущности, «дополнить» Писание вообще отсутствующим в нем собственным словом<sup>63</sup>, за ним — Кальвин и другие им подобные становятся вождями новой религиозности. Отчаянность их мысли укоренена в том новом типе мистики, в каком она прошла через процедуру религиозной демократизации. Теперь она может принадлежать «обыкновенным» грешным людям, но каждый из них лично предстоит перед Богом. Их богоизбранность не нуждается в исключительном даре святости и чудес, как было раньше. Ей не обязательно совершать чудеса, как не надо, чтобы мироточили портреты, бронзовые или каменные изваяния этих персонажей. Их личная апостольская убежденность в своей христианской миссии отныне нашла свое место рядом с обыкновенными человеческими слабостями этих людей<sup>64</sup>.

Ни Лютера, ни Кальвина, ни Цвингли не отнести к религиозной элите, какими были Августин, Аквинат, Экхарт, Гуго, Сузо, Анджелла и др. Для человека новой религиозности характерно сочетание серых, невыразительных черт характера с неожиданной экзальтацией чувств, в том числе от вдруг поразившей его случайной мысли, высокого и низкого, значительного и мелочного. В доренессансной системе координат этих людей сразу назвали бы духовными самозванцами и твердой церковной рукой указали на соответствующее им место, а при любой попытке сопротивляться отправили бы в подвалы священной конгрегации. Но по многим причинам произошло ослабление церковного авторитета и влияния. Дрова для костров оказались сырыми, шпионы — ленивыми, ключи от застенок затерялись...

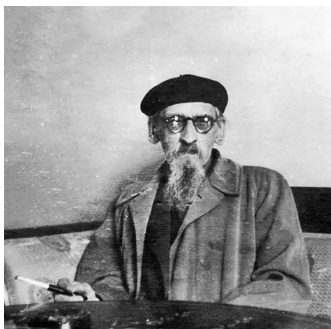


*Владимир Шилкарский,  
принявший самое деятельное  
участие в издании  
«Поэмы о смерти». Каунас, 1931 г.  
Фонд Интинского  
краеведческого музея*

<sup>62</sup> Выражение Г. Честертона [41, с. 63].

<sup>63</sup> «Скажите, что так у доктора Лютера!» [Там же].

<sup>64</sup> Живое лицо большинства первых вождей было очень скоро наглухо закрыто нагромождением выдумок и мифов, созданных их могущественными врагами [см., напр.: 28]. Но, обрушившаяся поток критики и фантастических обличений, противники невольно передавали «еретикам» изрядную долю значительности, еще недавно принадлежавшую исключительно официальной католической церкви. Тем самым масштаб и авторитет новых вождей становился сопоставим с авторитетом Рима. Так образ элементарно скверного по характеру, но лично предельно скромного Кальвина был раздут папистами до гигантского религиозного монстра — «женевского папы», а жизнелюб и политический конформист Лютера стал «виттенбергским папой» [см.: 28].



*Лев Платонович Карсавин.  
Один из последних снимков  
в кабинете директора  
Вильнюсского  
художественного музея,  
1947–1948 гг. Фонд библиотеки  
Вильнюсского университета*

Вероучительные книги, а с ними и мистические трактаты широко разошлись по рукам. А обыватель при первых признаках послаблений стал возвращать в себе все, что было для него в себе дорого, а дорого в себе любимом ему было почти все.

В массовом порядке мистика начинает осваиваться с конца XVIII века. Теологи<sup>65</sup>, философы, теософы, просветители и литераторы все шире и свободнее включают ее в сферу творческих интересов. Постепенно она перетолковывается в понятия «вдохновение», «интуиция», «творческое наитие и порыв» и др. так, что во многом уже ставшая секулярной культура почти перестает ее замечать под ее собственным именем и в ее первичном значении<sup>66</sup>.

Незаметно разлившаяся и проникшая в сознание человека Нового времени демократическая мистика стала новой основой теозиса, обретения им своего достоинства перед лицом Бога, Абсолюта, Вечности, Истории, фундаментом современного гуманизма. Через опору на нее произошло уже не окончательное оправдание телесности, начавшееся в XIV веке с Боккаччо и других, а уже ее утверждение, как и торжество значения чувственности, были открыты ценности человеческого здоровья и культуры. Но за все это пришлось заплатить свою цену: была утрачена всеобщая «традиционная религиозность», из него стала исчезать до того всегда переживаемая человеком Тайна. Секуляризация, как известно, «расколдовала» мир, трансформировав миссию Церкви в служение Его величеству Человечеству (О. Конт). Но главное, что произошло, было весьма таинственным: непостижимым образом еще вчера тленная реальность, глубоко сомнительная и угрожающая внезапной смертью, под влиянием науки предстала перед человеком в качестве окончательно убедительной основы жизни. Эта убедительность окончательной, фактической реальности стала главной чертой и выражением демократической мистики, она была понятна каждому и потому принята почти всеми. Она стала тем, чему стоило служить.

Карсавин был русским человеком, воспитанным в православной вере. Но православие не проходило Реформацию, не понуждалось извне или изнутри отвечать на вызовы личного самосознания. Образование, полученное Львом Платоно-

<sup>65</sup> Ранее Церковь часто подозрительно относилась к одиноко отстоящим фигурам мистиков, обоснованно усматривая в них угрозу для авторитета церковного учения, нередко объявляя те или иные их положения еретическими.

<sup>66</sup> О многом говорит уже то, что Пушкин, без внимания которого, казалось бы, не остался ни один существенный факт и лицо отечественной жизни, ни разу (!) не упомянул о Серафиме Саровском. Благочестивые фантазии о тайной поездке Пушкина к старцу всерьез принимать не приходится [29].

вичем, напротив, содержало в себе особенности западной культуры, в значительной мере обработанной протестантизмом, проникшим в ее ткань. В научной деятельности, где личностные оценки максимально отстранены и господствует сам метод, помноженный на добросовестность и талант ученого, больших проблем с личным самосознанием не возникает. Но в религиозной сфере, где вера охватывает всего человека целостно, на что не уставал указывать сам Карсавин и обращал особое внимание А. А. Ванеев, ценность и значение идеи приобретают особое значение.

В лице Льва Карсавина встретилось слишком многое: религия и наука; традиционная мистика и мистика демократическая; древняя церковная традиция с ее вероучением и личное самосознание; отменное знание патристики, многообразной практики истории мирового христианства, доктринальных особенностей конфессий и <...> его собственные человеческие недостатки и слабости. Под тяжестью этих, в значительной мере осознаваемых им проблем, он — «метафизик и поэт» — всю жизнь честно<sup>67</sup> стремился к осмыслению своей веры и раскрытию трудных вопросов вероучения. Но в какой бы круг вопросов ни помещал он свою мысль, она была прочно устремлена к истории его личной любви, главной надеждой Льва Платоновича было то, что метафизика поможет его сердцу найти этой любви место, согласовать ее с горним.

*Я думаю, что рай еще будет и только кажется бывшим. Ты же веришь в наивную сказку, что он уже был. —  
«Не сказка, а — Священное Предание».*



*Лев Карсавин, запускающий воздушного змея в пригороде Петрограда. Эпизод отражен в «Поэме о смерти». Снимок представлен автору Фрасузой Лесур (Лион). Фото вероятнее всего сделано Е. Ч. Скржинской, 1920 г.*

<sup>67</sup> Показательны карсавинские пассажи о его отношениях с религиозными переживаниями и мистикой, которыми он открывает книгу о своей метафизике: «Есть два пути Боговедения. Один — непосредственная и деятельная вера, которая без сомнений и колебаний, по-детски приемлет Истину; другой — путь мучительных исканий и сомнений, нередко разгорающихся в неутолимое пламя скептической ереси. Сомнение — темный огонь, однозвучная тишина томительного прозябания и мрак, только время от времени пронизываемый светом несомненной Истины, впрочем — сущий именно ею, ибо источник сомнения в несомнительном и жажде его. Деятельна истинная вера. Но в деятельности же выражается и сомнение. Оно дерзко испытует Правду грехом или томится и горит не сгорая в собственном своем ледяном холоде...» [20, с. 13].



— Предание надо понимать... —

*«Но не по произволу. И ежели бы вник ты в его смысл, ты усмотрел бы, что не равняет оно первоначальной, умиленной жизни праотцев святых наших в раю с полным совершенством. В Божьем же полном совершенстве есть все и ничто не может ни прибывать, ни убывать, поелику оно довлеет себе и, стало быть, неизменно».*

— Эх ты, философ!.. (ПС).

*Не проходят бесследно ошибки: за каждую платишь страданьем и горем...*

*Тернист путь любви, полн ошибок и мук. Но не счастье любовь — она и страданье и радость. Слушай ее необманные речи, звучащие в сердце твоём. Смело иди на страдания, ищи безбоязненно радость. Сам ты находишь свой путь, узнаешь, что должно и нужно. Сердце подскажет тебе, кто твой любимый, что ты должен принять, от чего отказаться (NP).*

#### 14.

Стремление осуществить в метафизике синтез личных интуиций и мистических озарений с христианской доктриной возвратило Льва Карсавина к тем важным темам и узловым точкам, о которых он сам писал задолго до выхода «Ночей». Поскольку мистик «напрямую» общается Богом, он в каком-то смысле не нуждается в Церкви и ее доктрине, центром которой с IV века стала догматика<sup>68</sup>. Поэтому Церковь обоснованно с подозрением относится к мистикам, как возможным источникам ересей, всем своим историческим опытом борьбы против них, тяготея к консервативности в отстаивании неприкосновенности догматических определений.

Церковное сознание послереволюционного времени, сотрясаемое испытаниями и скорбями, смотрело на любые попытки переосмысления церковного предания с той крайней предубежденностью, с какой от всего ожидают угрозу. Карсавин, конечно, видел, с какой невероятной быстротой произошел процесс окостенения религиозности, сведение ее к «системе», как вперед вышли вопросы конфессиональной идеологии и сохранение верности догматам православной церкви. Русские люди, как он выразился, «переправославились и сделались яркими защитниками традиционной системы», хотя такой, по его убеждению, в православии как раз и не существовало [5, с. 159].

Ультраконсервативно настроенная часть Церкви могла радикально отреагировать на всякую новую работу Льва Карсавина. Эту опасность при всей его личной убежденности в правильности своих идей он, безусловно, осознавал<sup>69</sup>. При этом именно он обладал необходимой базой, чтобы найти решение проблем, рожденных встречей предания и традиции древней Церкви и современной культу-

<sup>68</sup> См. подробнее: [18, с. 18].

<sup>69</sup> «Знаю, что мои слова звучат богохульственно и, по-видимости, посягают на основные догмы христианства...» [5, с. 153].

ры, ответить на вопросы образованного человека XX века. Но такое внимание к текущим проблемам российской Церкви требовало от Карсавина решительности Лютера и непреклонности Кальвина, а как раз этих духовных качеств ему и не хватало. Он не раз привлекал догматику к обоснованию своей метафизики, хорошо понимал ее место и значение для личной веры<sup>70</sup>, но, в конце концов, предпочел сосредоточиться на важной, но менее опасной теме — на эвристическом значении христианской догмы в истории и культуре.

Строго говоря, разворот к охранительному уклону в отношении догматики не был продиктован исключительно революцией и гонениями на Церковь. Как указывал А. А. Ванеев, еще до конца средних веков догматическая мысль западного христианства была достаточно свободна, но затем все более тяготела к «сравнительно неподвижной доктрине или даже к неприкосновенной формуле. Распространенному в наше время представлению, будто бы это и есть существенная черта христианства, следует указать на то, что на самом деле это — динамический момент христианской истории». Настроения религиозно-адогматизма, односторонней актуализации веры, по Ванееву, сводят значение догмы «до священных формул или даже оградительных определений против рациональных ересей» [3, с. 347–348].

Если ранее христианское и еще средневековое религиозное переживание преимущественно стремилось *выражать* веру в догматике, то Новое время сформировало изобразительный характер мысли. Таким образом, карсавинская метафизика вставала перед необходимостью осознать это противоречие. Характер мысли философа был сформирован научной школой и уже тяготел к изобразительной объективации, тогда как намагниченность средневековыми текстами влекла Карсавина к непосредственной выразительности религиозного мировосприятия. Его попытки — быть и религиозным мыслителем, и ученым, пытаться одновременно



*Густав Андреас Веттер, один из самых значительных корреспондентов для Л. П. Карсавина (1939–1940 гг.), впоследствии основатель советологии и Папского центра изучения марксизма. Фото предоставлено автору Йозефом Махой, при содействии Иосифа Мелкитесян*

<sup>70</sup> Лев Карсавин посвятил заметное количество страниц разъяснению своего понимания догматики, но, как правило, его умозрительные спекуляции выдают, что он «вошел в роль» ученого и скорее затемняют, чем проясняют понимание догматики. Вот, например, характерный фрагмент: «Божественная Ипостась Логоса выше бытия и небытия, становления-погибания или изменения, так что в себе совершенно содержит начало и полноту того, что мы этими словами обозначаем...» [20, с. 157–176].



Обложка брошюры  
со статьей Л. П. Карсавина  
«Восток, Запад и русская идея», 1922 г.

усидеть на этих двух стульях — были заранее обречены, поскольку он прошел мимо проблемы соотношения выразительности и изобразительности в догматике.

Каждому из этих характеров религиозной мысли соответствует своя значительность. Нельзя приравнивать изобразительность к сциентизму, как нельзя науку смешивать со сциентизмом. В науке царит диктат изобразительности над выразительностью, и это правильная методика, если мы знаем и помним о месте науки. Но в философии и теологии изобразительность должна раньше всего осознавать свое очень важное, хотя вторичное место после выразительности. Это не унижает достоинство изобразительности. Напротив, способность изображения охватывать собой и ясно раскрывать смысл того, что было пережито в его таинственной глубине и вдохновенно выражено, — высшая способность. Перед Карсавиным, а в его

лице перед всей религиозно-философской и богословской мыслью, стояла огромная задача: изобразительно усвоить преимущественно выразительную традиционную догматику. Она требовала полного уважения к прошлому и одновременно — сознания собственного личного достоинства, своей свободы и ответственности. Первое у Льва Платоновича наличествовало с избытком, с личной решительностью возникли проблемы.

В регистры религиозной выразительности и научной изобразительности мысль Карсавина входит своевольно и дискретно, и это сказывается на особенностях его авторского стиля. Поэтому совсем не случайна к нему претензия, высказанная Ф. А. Степуном [16, с. 530], что при всем «особом обаянии» карсавинским текстам недостает «дара чисто художественной изобразительности»<sup>71</sup>.

С изобразительностью у Карсавина и вовсе возникли дополнительные сложности: сказывалась инфекция театральности и сценической позы, подхваченная Львом Карсавиным еще в юности. Один из его парадоксов состоит в том, что, войдя в самый центр церковного сознания, углубляясь в вопросы догматического богословия, максимально укоротив дистанцию своих отношений с Богом, пытаясь в своей метафизике раскрыть христианское значение личности, Лев Платонович продолжал нудиться ожиданием отклика публики, страдать из-за отсутствия интереса к своим идеям. В этом выразилось характерное карсавинское двоение: метафизик, назна-

<sup>71</sup> На это место из рецензии Ф. А. Степуна обратил внимание в своем комментарии С. С. Хоружий.

ченный самим Небом к тишине и высшей ответственности своей мысли, последовал за собой поэтом, к тому же очень посредственным, стал болезненно ожидать отклика слушателей и, быть может, даже аплодисменты.

*Предположим даже, что, воспользовавшись некоторыми природными своими особенностями, я лишь вообразил себя страдальцем. — Все равно. Как же иначе ощутить и понять нашу общую муку?.. Актер играет трагическую роль. Почему не сыграть ее метафизику? Только в игре открывается беспримесная правда. Зритель должен смотреть не на актера, но на изображаемого актером героя. А Вы, читательница, лучше всего сделаете, подразумевая (не всегда, конечно) под моим «я» весь мир. Мое «я» — его маска (ПС).*



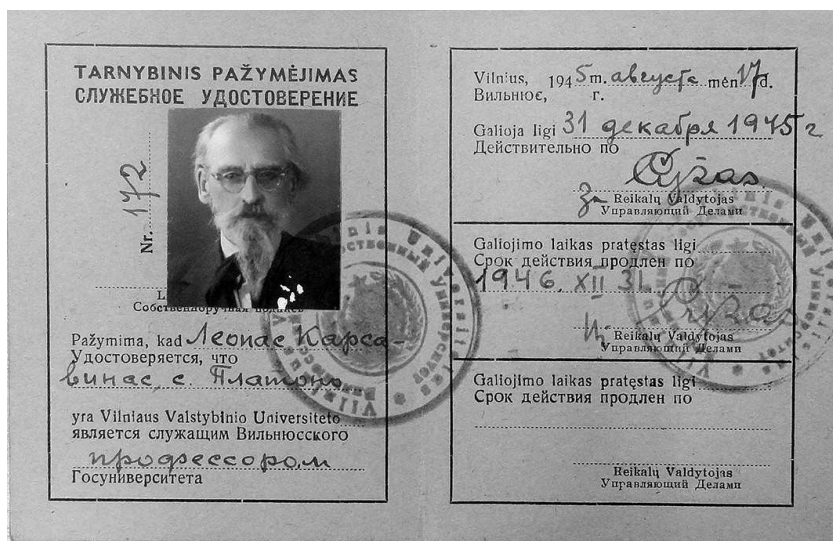
*Елена Чеславовна Скряжинская с дочерью Мариной Владимировной. Ленинград, середина 1958 г. Фото из семейного архива М. В. Скряжинской*

## 15.

За крайней жесткостью и даже жестокостью оценки Елены Скряжинской, как Лев Карсавин распорядился своей жизнью, скрыты значительно более серьезные причины, чем просто обиды и обманутой, и обманувшейся женщины. Умудренная тяжелыми испытаниями, имея возможность близко общаться с самыми крупными учеными своего времени и сравнить степень их дарований, она пронизательно рассмотрела главный изъян Льва Платоновича — духовную безответственность по отношению к своему таланту<sup>72</sup>, который был дарован ему Богом. Таким образом, в духовном измерении личная безответственность к делу мысли была не чем иным, как безблагодарностью к Творцу. Одаренность Карсавина была так значительна, но решительно не совпадала с жалкой, в сущности, избранной им долей профессора третьеразрядного университета в глухой европейской провинции. В этом была настоящая суть приговора Елены Чеславовны.

<sup>72</sup> Например, А. В. Карташев, сам обладавший незаурядным научным и богословским авторитетом, указывает на «карсавинскую феноменальность» и «русскую гениальность» Льва Платоновича [см.: 23, с. 471, 477].

Следуй Карсавин своему настоящему, назначенному ему призванию, не превращай свой талант в предмет личного каприза — хочу — пишу, расхотелось — на десять и даже двадцать лет «заброшу»<sup>73</sup>, — возможно, православная мысль сегодня была бы в ином состоянии. Темы, которых коснулась карсавинская интуиция, никогда не второстепенны, они все имеют первостепенное значение для современного церковного сознания. Но есть одна общая, объединяющая их особенность: коснувшись больших, глубинных проблем, он всякий раз странным образом останавливался и не шел дальше, куда намечала путь его мысль.



Университетское удостоверение профессора Л. П. Карсавина.  
Вильнюс, 1944 г. Из фондов библиотеки Вильнюсского университета

Одной из общих причин, повлиявших на Карсавина всю русскую религиозную философию начала XX века, стала общая атмосфера преклонения перед наукой, достигшей поразительных прорывов именно в то время. Философы, уверенно рассуждая о Боге, смешивали богословие, философию и научные знания. Лев Платонович к этому добавлял свои озарения так, словно сам он имел полноту веры тех, кого он привлекал в союзники своей мысли — Григория Нисского, св. Максима Исповедника или Николая Кузанского. Научное знание о вере он не отделял от *личной непосредственной веры*, жертвой раздерганного состояния которой был в действительности. Ему, как многим тогда, казалось, что примирить веру и науку возможно

<sup>73</sup> В письме к Густаву Веттеру Лев Карсавин пишет: «Уже лет десять, как я забросил работу над ее совершенствованием и защитой, ибо почувствовал себя вопиющим в пустыне» [5, с. 104–170]. Но в действительности к своей метафизике он вернулся только через 20 лет, после ареста [39], а до этого был погружен в культурно-исторические темы.



и дело только в преодолении вульгарностей ограниченного позитивизма. Атеизм представлялся результатом ошибочного представления разума о религиозной вере, то есть зеркально тому, как Просвещение когда-то отнеслось к религиозной вере и человеческому разуму, разве что с противоположным знаком.

Поставить вопрос о необходимости раскрытия христианского смысла атеизма Карсавин не смог, но приблизился к этой теме вплотную<sup>74</sup>. Его множественно употребляемое, излюбленное словечко «как» — «Небытный, Ты живешь во мне, как я», «Мой беспределен путь, как путь Господен» — скрывает за собой всю таинственную глубину процесса объективации нашей мысли<sup>75</sup> и, в конечном счете, момент самоустранения Бога: «Бог как я». Совсем не случайно Анатолий Ванеев, размышляющий в лагере над услышанным от Льва Карсавина, приходит к выражению «положительная христианская задача атеизма»<sup>76</sup> [2, с. 85].

Стремление к научной беспристрастности, «объективности» в сочетании с упоением от своих страстных чувств, проникнув в духовную сферу карсавинской личности, деформировало религиозную сферу его души, заиклило на своем «Я»<sup>77</sup>. Множественное число раз в работах Льва Платоновича проявляет себя вторичная рефлексия — размышления о своих размышлениях, но почти всегда — он погружен в круги собственных переживаний. Карсавин не относится к своей метафизике как к исключительно *важному для всей Церкви делу*, которое возложено именно на него. Он бежал этого долга и потому в отношении к своему философствованию принимает позу шута и кривляки: «Мое дело прокукарекать, а там хоть не расцветай». В его работах нет и следа пафоса своей личной миссии в Большой истории Церкви — сознание своей ответственности, как человека, прокладывающего путь ее общей мысли. Он не осознает в полной мере, что рядом с ним незримо его любимые Отцы Церкви и ожидают его, Льва Карсавина, ответов. Анатолий Ванеев прав, когда указывает на этическое-карикативное начало всей карсавинской метафизики [3, с. 362], но в своей чрезмерной почтительности к Учителю он не замечает, что начало это стерилизовано эгоизмом, не видит в нем отсутствия личной общецерковной ответственности. Или не хочет об этом говорить.

<sup>74</sup> Лев Карсавин совсем не случайно в рассуждениях о Боге задевает тему научного знания в своем «Венке сонетов»: «Как говорит и точная наука — Идея, мысль, небытию равна» [15, с. 287].

<sup>75</sup> Строго говоря, даже двойной объективации, поскольку мы мыслим и о самой нашей мысли...

<sup>76</sup> Честь постановки такого вопроса и многолетней разработки этой темы принадлежит религиозному философу Константину Иванову, основному собеседнику и другу Анатолия Ванеева [см.: 11; 12; 13].

<sup>77</sup> Религиозность Карсавина выражает себя преимущественно в личных умозрениях, полнота церковной веры заявляет о себе еще в опыте Таинств. Карсавинские статьи и книги пестрят словами «тайнственно», «тайнственное», «та́йна», но «Та́инству» в них практически не находится места, также нет у него внимания к литургии. Это возвращает к вопросу о том, как он сам относится к своему философствованию.

Лев Платонович, конечно, несколько искусственно сам вгонял себя в состояние маленького, униженного человека, героя, почитаемого им в качестве философа Достоевского. Но это все же не играет решающей роли: современный человек возвеличивает себя лишь только потому, что давно смирился с мыслью о том, что не может иметь отношения к чему-то по-настоящему великому и значимому. «Единица — ноль и вздор...» В религиозном сознании духовное самоуничижение оборачивается опасным сосредоточением на нашей личной греховной ничтожности. Это закрывает главное: во Христе нам явлена полнота достоинства и любви Его человеческого Лица.

*Мыслью, что начитался ты лжехристианских книг, но и в них понял весьма мало, скудное же свое приобретенное сим путем достояние считаешь, тем не меньше, ниспосланным тебе Божественным откровением, хотя праведною жизнью отнюдь не воссиял и благоприличием речи абсолютно не отличаешься. Ты, возлюбивший себя сочинитель, подобно на ветер лающему псу, кричишь на всех торжищах, что тебя особливо возлюбил Бог. Подумаешь! — Бог в тебе нуждается, без тебя, видите ли, жить не может! Но есть ли в тебе, за что тебя возлюбить, если ты даже и по собственному своему признанию червь и ничтожество? (ПС).*

## 16.

Спустя ровно 10 лет после смерти Карсавина в инвалидном лагере на станции Абезь Республике Коми, конечно, ни какой не философ, а потому и не судья карсавинской метафизике, но облеченный огромным доверием Льва Платоновича, Петр Петрович Сувчинский подвел грустный итог истории карсавинской любви. В письме к М. В. Юдиной он приоткрыл намеком малоизвестные обстоятельства ужасной жизненной драмы Карсавина и его семьи<sup>78</sup>:

Вас, м. б., удивит или озадачит тот факт, что я, лично, всегда был на стороне Е. Ч. Ему нужно было выйти из-под жуткого гнета семьи. Он жил — точно в плену, в какой-то внутренней глухой провинции и постепенно его силы самозащиты — начали сдавать и сдали окончательно, когда он согласился ехать в Литву.

Я не сужу, но факты и события подтвердили мои точки зрения. Л. П. «запутался» и в своем богословии, и в своей публицистике, и в своей поэзии, такой беспомощной и безвкусной. Но главное, он принял предложение ехать в Ковно, как в ссылку, и я уже ни в чем не мог ему помочь.

Я понимаю, что в некоторых случаях «семья» должна защищаться. Но эта защита должна оставаться фактом внутренним, интимным, а не приобретать характер общественного скандала, шельмования, мщения.

<sup>78</sup> Особенно обращает на себя факт оценки Л. П. Карсавина из Парижа в глухой провинциальный Каунас как вынужденный, непереносимо тяжелый для него шаг, о чем чаще всего сообщается в превосходно-торжествующих интонациях. Текст письма приводится в сокращенном изложении, в полном виде письмо опубликовано здесь: [43, с. 67].

Что бы ни было, но удивительная, мягкая, хрупкая натура Л. П. подобного скандала не заслуживала и не вынесла. Если бы дети, все знакомые и полужнакомые не были бы вовлечены в эту лично-семейную историю, все бы закончилось иначе, проще, без этого ужасного самоистребления целой семьи, — и главное — самого Л. П. В результате — все погибли. А во что превратились эти другие жертвы — Ирина и Сусанна? Страшно подумать!

Подумайте только: из-за «пещерного» существования Л. П. — ни одна его книга не была (и не будет!) переведена на иностранные языки. Этот драгоценнейший для русской культуры человек — погиб (и из-за чего!?!), словно и не жил...

Как было ужасно видеть, что такой человек сознательно сломал, уничтожил свой жизненный механизм, свою витальность, свои жизненные силы! Это ужасно! Раз в 1000 лет рождается в семье выдающийся человек, и вместо того, чтобы ему — такому человеку — помогать, жить для него — ему устраивают развязку «Весны Священной»: живого хоронят и потом еще притоптывают землю.

Мне не нужен адрес Е. Ч. — я ей никогда ни о чем писать не буду и не могу. Я ее никогда не видел и видеть не хочу; скажу даже, что я и ее считаю так же виновной в трагической судьбе Л. П. — она или не сумела, или не смогла действительно спасти его; она была, по-видимому, не на высоте такой задачи. Философия бытия — безмерна, но, мне кажется, существуют два основных положения этой философии: наивысшая ценность бытия — это человек; наивысшая ценность в человеке — это его творческий дар; которым не все обладают; это высшая благодать, которую нужно ценить превыше всего. Из-за жутких человеческих страстей — не уберегли чудесный дар Л. П. — и это я никому не прощу, даже себе<sup>79</sup> [43, с. 67].

Вряд ли существует однозначный ответ, прав ли Петр Сувчинский, считающий, что в случившемся более виноваты окружавшие Карсавина близкие. И стоит считать единственной причиной неудержимую потребность Льва Платоновича артистически обнажать перед публикой свои сугубо интимные переживания, притом что, конечно, своими «Ночами» и «Поэмой» Лев Платонович нарушил существовавший в веках запрет говорить со всеми подряд на сокровенные темы: «Не бо врагу Твоему тайну повею»<sup>80</sup>. Нравственная брезгливость осуждающей позиции — «Карсавин страдал духовным бесстыдством» — имеет под собой свои основания. Но ее категоричность не должна заглушить то, что заключено в этих же резких словах. Надо слышать и это, то, что Лев Платонович действительно *страдал*.

«Случай Карсавина» относится к тому разряду, когда в большинстве из живущих сегодня происходит подобное столкновение между духовной мелочностью, бегством в суету забот, позерством даже пред самим собой и тем в действитель-

<sup>79</sup> Марианна Львовна, дочь Карсавина и жена П. П. Сувчинского.

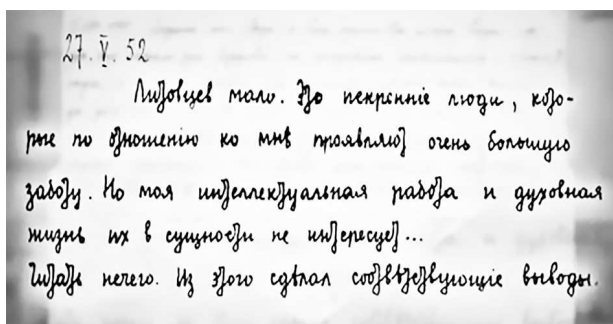
<sup>80</sup> См.: Тропарь Великого четверга: «Не бо врагом Твоим тайну повею, Ни лобзания Ти дам, яко Иуда, Но яко разбойник, исповедаю Тебя...» (Ибо я не открою тайну врагам Твоим, не поцелую Тебя, как Иуда. Но как разбойник (благочестивый), исповедаю Тебя.)



Могильная табличка на месте захоронения Л. П. Карсавина.  
Лагерное кладбище  
в Абези (Республика Коми)

ности самым важным, что из глубины нашего бытия ожидает ответов. Неважно, когда это становится слышно — на больничной койке или в ослепительной красоте чудесного дня, над свежей могилой близкого человека или в переполняющем счастье нашедшей нас любви. Лев Карсавин прошел путями своей мысли, для чего-то он нашел поразительно точные слова, что-то почувствовал и передал смутно, не до конца понимая сам. Но в одиночестве тюремной камеры Вильнюсской тюрьмы, в том одно-временном единстве несвободы и свободы, которого он втайне желал, все лишнее и наносное, наконец, осталось позади. То оставшееся, что сам он упорно продолжал считать главным, Лев Платонович вложил в свое философское завещание — два корпуса стихов, названных им «Венок сонетов» и «Терцины», и комментарий к ним. Как и положено настоящей философской поэзии, стихи Карсавина выразили значительно больше, чем приложенные к ним рациональные пояснения:

*Безмерная в Тебе сокрыта сила.  
Являешься в согласье и борьбе  
Ты, свет всецелый, свет без тьмы в себе.  
И тьма извне Тебя не охватила.  
Ты беспределен: нет небытия.  
Могу ли в тьме кромешной быть и я?  
Свой Ты предел — всецело погибая.  
Небытный, Ты в Себе живешь, как я,  
Дабы во мне воскресла жизнь Твоя.  
Ты — мой Творец, Твоя навек судьба — я [15, с. 284].*



Фрагмент письма Л. П. Карсавина из Абези, с обычным отсутствующим обращением к супруге. Возможно, Карсавин надеялся передать это письмо Елена Чеславовне с одним из освобождавшихся заключенных

## Литература и источники<sup>81</sup>

1. А. Пл.<sup>82</sup> Книжная полка. А. Карсавин — «Noctes Petropolitanae» // Воронежская коммуна. № 178 (880) от 9 августа 1922 года.
2. Васильева М. А. Средневековая Италия и спор о «среднем человеке»: полемика П. М. Бицилли с Л. П. Карсавиным // Образы Италии в России — Петербурге — Пушкинском Доме / Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2014. С. 52–58.
3. Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990.
4. Ванеев А. А. Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина // Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 337–366.
5. Гаврюшин Н. К. Переписка А. Веттера с Л. Карсавиным // Символ: журнал христианской культуры при Славянской Библиотеке в Париже. Париж, 1994. Июль. № XXXI. С. 104–169.
6. Головина Е. В. Городская больница св. Николая Чудотворца для душевнобольных в Санкт-Петербурге. СПб., 1887. URL: <http://www.citywalls.ru/house1370.html> (дата обращения: 03.12.2017).
7. Дом русского зарубежья. Коллекция В. Аллоя. Письмо Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 20 января 1926 г. [Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 1].
8. Дом русского зарубежья. Коллекция В. Аллоя. Письмо Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 7 июля 1926 г. [Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 13–14].
9. Дом русского зарубежья. Коллекция В. Аллоя. Письмо Л. П. Карсавина к П. П. Сувчинскому от 27 февраля 1928 г. [Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 3].
10. Ендольцев Ю. А. Лев Платонович Карсавин — познание запредельного // URL: <https://www.torchinov.com/материалы/философия/лев-карсавин/> (дата обращения: 03.12.2017).
11. Иванов К. Вера, благополучие и наука // URL: <https://profilib.net/chtenie/120189/valter-kasper-bog-iisusa-khrista-101.php> (дата обращения 03.12.2017) .
12. Иванов К. К. Камни. СПб.: Скифия-Принт, 2016.
13. Иванов К. Л. П. Карсавин и А. А. Ванеев // Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 333–336.
14. Интинский краеведческий музей. Фонд Л. П. Карсавина. Ед. хр. ИКМ/КЛ 404318.
15. Карсавин Л. П. Венок сонетов // Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л. П. Карсавине. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. С. 270–284.
16. Карсавин Л. П. Диалоги // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 1994. С. 285–342.

<sup>81</sup> Использование архивных материалов Библиотеки Вильнюсского государственного университета и Особого архива Литвы производится на основании письменных разрешений этих организаций, предоставленных автору.

<sup>82</sup> Андрей Платонович Платонов (Климентов).



17. Карсавин Л. П. Любовь и Бог // «Вестник самообразования». Ежемесячный журнал духовной культуры, русского образования и популярно-научных знаний. Берлин, 1923. № 9. Фонд Российской государственной библиотеки.  
URL: <http://russophile.ru/2016/12/14/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B3/> (дата обращения: 03.12.2017).
18. Карсавин Л. П. Мистика и ее значение в религиозности средневековья // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 1994. С. 9–23.
19. Карсавин Л. П. О личности // Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. LXXIII. М.: Ренессанс, 1992. С. 3–234.
20. Карсавин Л. П. О началах. СПб.: YMCA-Press: Scriptorium: Мѣра, 1994.
21. Карсавин Л. П. Поэма о смерти // Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. LXXIII. М.: Ренессанс, 1992. С. 235–305.
22. Карсавин Л. П. «Noctes Petropolitanae» // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 1994. С. 99–203.
23. Карташов А. В. Лев Платонович Карсавин (1882–1952) // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 1994. С. 471–477.
24. Клементьев А. Послесловие // Карсавин Л. П. О началах. СПб.: YMCA-Press: Scriptorium: Мѣра, 1994. С. 363–375.
25. Лосский Б. Н. Наша семья в пору лихолетия 1914–1922 годов. М.: Феникс, 1999.
26. Мажуга В. И. Е. Ч. Скржинская — исследователь и публикатор исторических источников // Иордан. О происхождении и влиянии гетов. Getica. М.: Алетейя, 2001. С. 490–505.
27. Макграт А. Богословская мысль Реформации. Одесса: Богомыслие, 1994.
28. Макграт А. Жизнь Жана Кальвина. Влияние пастора и богослова на формирование западной культуры. Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2016.
29. Менделеев Д. А. С. Пушкин и преподобный Серафим: была ли встреча? // URL: <http://www.pravoslavie.ru/86978.html> (дата обращения: 12.02.2018).
30. Обзор истории Каунаса — Каунас с момента основания до распада Великого княжества Литовского, 1795 // URL: <https://p-w-w.org/index.php?topic=14139.0> (дата обращения: 12.02.2018).
31. Особняк Ковальского — Скржинской // URL: <http://www.citywalls.ru/house27695.html> (дата обращения: 12.02.2018).
32. Российская государственная библиотека. Научно-исследовательский отдел рукописей. Фонд № 869.
33. Свешников А. В. Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем: (История одного профессорского конфликта) // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 42–72.
34. Скржинская М. В. «И тогда я прочла Карсавину стихи...» // URL: <http://russophile.ru/2016/10/08/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%8F-%D0%BF>

- D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0/ (дата обращения: 12.02.2018).
35. *Скржинская Е. Ч.* Неиспользованные источники преподавания истории // Вестник высшей школы. 1940. № 17.
  36. Собственный дом арх. В. П. Стаценко // URL: <http://www.citywalls.ru/house6467.html> (дата обращения: 12.02.2018).
  37. *Степун Ф. Л.* Карсавин. Диалоги. Берлин: Обелиск, 1923 (рецензия) // Современные записки. Ежемесячный общественно-политический журнал. Кн. XV. Париж, 1923. С. 419–420.
  38. *Хоружий С. С.* Лев Платонович Карсавин // *Карсавин Л. П.* Сочинения. М.: Раритет, 1993. С. 5–13.
  39. *Хоружий С. С.* Хроника жизни и творчества Л. П. Карсавина // Лев Платонович Карсавин. М.: Российская политическая энциклопедия (РОСПЭН), 2012. С. 467–478.
  40. Чеслав Казимирович Скржинский, старший техник Общества электрического просвещения, и его семья // URL: <http://l-flow.ru/?article&id=93> (дата обращения: 12.02.2018).
  41. *Честертон Г.* Святой Фома Аквинский. М.: Политиздат, 1991.
  42. *Штейнберг А.* Лев Платонович Карсавин // *Карсавин Л. П.* Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 1994. С. 478–498.
  43. *Юдина М. В.* Дух дышит, где хочет. Переписка 1962–1963 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 66–71.
  44. *Юдина М. В.* Обреченная абстракции, символикe и бесплотности музыки. Переписка 1946–1955 гг. М.: РОССПЭН, 2008.
  45. *Юрлов С.* Кафедральная эротика // Красная новь. Литературно-художественный и научно-публицистический журнал. М.; Пг.: Государственное издательство, 1922. № 3. С. 273–275.
  46. L. Karsavino baudhiamoji byla (Следственное дело Льва Карсавина). Lietuvos upatingasis archyvas (Особый архив Литвы). Ф. К.-1. Оп. 58.
  47. L. Karsavino pastabus byla (Наблюдательное дело Льва Карсавина). Lietuvos upatingasis archyvas (Особый архив Литвы). Ф. К.-1. Оп. 59.
  48. Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius (Отдел рукописей Библиотеки Вильнюсского университета). f. 138, ap. 76.